

# ПОЛИНА ДАШКОВА

Приз



«Астрель»

Полина Дашкова

**Приз**

«АСТ»

2004

## **Дашкова П. В.**

Приз / П. В. Дашкова — «АСТ», 2004

Он – человек-бренд, человек – коммерческий проект. Его знает и любит вся страна. У него миллионы поклонников и великие перспективы. В недалеком будущем он даже мог бы стать президентом России, если бы не случайная свидетельница, 17-летняя девочка, которая чудом уцелела и пока молчит...

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	12
Глава третья	21
Глава четвертая	29
Глава пятая	35
Глава шестая	43
Глава седьмая	50
Глава восьмая	60
Глава девятая	66
Глава десятая	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# Полина Дашкова

## Приз

*«И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его».*

*«Откровение Иоанна Богослова»,  
глава 14; стих 11*

*«Ведь это так, что ангелы всегда,  
спасая смертных, падают в пучину...»*

*о. Иоанн Санфранциский  
(кн. Шаховской)*

## Глава первая

Свет фар едва пробивал душную ночную тьму. Зброшенная бетонка тянулась через густой смешанный лес. Плиты раскрошились, сквозь щели проросла трава, вздулись корни столетних дубов и елей, такие крупные и крепкие, что тяжелый, набитый людьми грузовичок «газель» подпрыгивал и трясся.

Кончалось лето 2002 года, самое жаркое и засушливое за последние сто пятьдесят лет. Горел торф на болотах. Над огромным пространством от Архангельска до Краснодара небо стало мутным, молочно-розовым. Днем матовое вишневое солнце просвечивало сквозь марево, как зрачок циклопа. Ночью лунный диск казался маленьким рваным облаком. Слезились глаза, першило в горле, и трезвые шатались, как пьяные.

Водитель грузовичка был человек опытный, но еле справлялся с управлением. Много лет по старой бетонке никто не ездил. Она змеей проползала сквозь лес и упиралась в пустоту, оставшуюся от железных ворот и обозначенную двумя обломками столбов, из которых торчали щупальца ржавой арматуры. Дальше дорога становилась шире, лучше, сохранилось асфальтовое покрытие, тоже очень старое, но достаточно крепкое.

Метрах в двадцати от въезда высилась одинокая фигура девочки физкультурницы в пышных коротких шароварах, в футболке и пионерском галстуке. Она стояла здесь на цыпочках больше пятидесяти лет, пытаясь закинуть свой облупленный мяч в несуществующую корзину. От ее братьев и сестер, пионеров и пионерок с книжками, веслами, горнами и барабанами, остались только обломки. Кое-где на заброшенной территории бывшего пионерлагеря «Маяк» белели в некошеной траве то голова с отбитым носом, то кусок беспалой руки, то нога в носке и тапочке.

Из пяти деревянных корпусов сохранилось три. Остались гнилые фрагменты забора, отделявшие территорию от песчаного берега реки Кубрь, и ржавые клочья колючей проволоки. Пятнадцать лет назад последний директор пионерлагеря распорядился обтянуть забор колючкой, чтобы дети самовольно не бегали купаться. Здесь до сих пор был чудесный пляж, чистый и совершенно дикий. Уцелело небольшое каменное здание, в котором когда-то размещались кухня и столовая. Окна выбиты, рамы выломаны, двери сняты с петель.

Грузовичок, прощупывая фарами темноту, медленно свернул на боковую аллею, пересек квадратную площадку, на которой когда-то проходили пионерские линейки, и остановился у здания столовой. Мотор затих. Из кабины выскочили двое молодых людей. Водитель, почти

на голову выше и заметно крепче пассажира. Несмотря на жаркую ночь, оба в плотных камуфляжных куртках. К свету фар прибавился свет двух мощных ручных фонарей.

– Все, Лезвие, прибыли, – тихо сказал пассажир и, повесив свой фонарь на шею, закурил. Водитель обошел машину, открыл кузов, запертый снаружи.

– Подъем! – рявкнул он, полоснув фонарем по нутру кузова, – Миха, Серый, вы спите, что ли?

– Тут уснешь, в такой вони, – ответил из глубины кузова молодой веселый голос.

– Ты чего пихаешься? – заныл другой голос, хриплый и больной. – Убери свет, прямо в глаза, блин, и так ничего не видно!

После короткой возни и вялой, сонной перебранки, из кузова вылезло пять человек. Двое молодых, в камуфляже, с фонарями, – Миха и Серый, трое постарше, в грязном тряпье, – безымянные бомжи. Один, самый старший, не удержался на ногах, опустился на четвереньки, тут же получил от крепкого Михи несколько ударов тяжелым ботинком и завыл дурным голосом.

– Хорош учить, покалечишь, – произнес невысокий человек, который приехал в кабине и никак не участвовал в процедуре извлечения из кузова трех сонных бомжей.

– Ты бы, Шама, посидел в их вони без противогаса, – огрызнулся Серый и поднял бомжа на ноги, вздернув за шиворот.

– Ничего, здесь воздух свежий, продышишься, – утешил Серого человек по прозвищу Шаман и обратился к бомжам вполне вежливо, даже приветливо: – Значит, так, мужики, сейчас все грузим быстро, но очень аккуратно. Груз ценный.

– Мы вам доверяем, – с ленивым смешком добавил водитель по кличке Лезвие.

– Так чего грузим-то? – поинтересовался самый бойкий из трех оборванцев.

– Не твое собачье дело, – ответил Миха и слегка подтолкнул бомжа к черному дверному проему бывшей пионерской кухни.

Пятеро исчезли во мраке.

На улице у грузовичка остались Лезвие и Шама.

– Может, зря мы этих трех вонючек взяли? – спросил Лезвие, прикуривая, – вполне могли бы сами справиться.

– На фига надрываться? Железо тяжелое, и вообще, пусть поработают напоследок, хоть какая-то польза от вонючек. – Шама потянулся, мягко хрустнув суставами. – Ты сам предложил их взять. Что же теперь?

– Теперь я думаю, что совсем не обязательно было перевозить железо. Место отличное, надежное, где мы еще такое найдем?

– Перестань. Отсюда до свалки всего пять километров. Свалка горит, рядом торфяники, при такой жаре огонь может перекинуться сюда, и начнется салют, от нашего железа только шварки останутся.

– А вонючки?

– Что вонючки? С ними будет, как обычно. Ладно, пойду, искупаюсь. – Шаман потянулся и покрутил головой, разминая шею.

– Иди. Я вообще не понимаю, зачем ты с нами поперся? Не царское это дело, Шама. Тебе пора отвыкать от черной работы. И рисковать тебе нельзя, особенно сейчас, – сказал Лезвие.

– Мне надо встряхнуться, а то закисаю. Риск бодрит, без него скучно. Ладно, если что, свистнешь.

Крепкая невысокая фигура бесшумно растворилась в темноте. Из бывшей кухни слышались голоса, тяжелый хриплый кашель. Бомжи, скрючившись, вынесли толстый брезентовый сверток, метра полтора длиной и, тихо матерясь, бережно загрузили его в кузов грузовичка. Всего таких свертков было шесть. Затем, после перекура и нескольких глотков водки, они принялись грузить ящики. Бомжи очень старались. Им было обещано, что после погрузки их не только отпустят, но и денег дадут.

Шама разделся на пустом песчаном пляже. Фонарь свой он погасил. Глаза привыкли к темноте, к тому же лунный свет сумел просочиться сквозь плотное марево. Реку пересекла зыбкая жемчужная дорожка. Шаман осторожно ступил на эту дорожку, сделал несколько шагов по илистому дну. Вода была теплой и мягкой. Из-за жары молчали ночные птицы и лягушки. Казалось, лес умер, так тихо было вокруг. Голоса и грохот погрузки едва долетали сюда и звучали мягко, почти музыкально.

Шаман застыл, прислушиваясь к тишине. В его жизни было слишком мало тишины, он совсем отвык от нее. Ему стало немного не по себе, словно лес, песок, обмелевшая усталая речка Кубрь и розовый лунный диск молча, недоброжелательно уставились на него, чего-то от него ждали и знали такое, что неодушевленные предметы в принципе знать не могут.

Слева, в зарослях дикой малины, ему почудился шорох и еще какой-то звук, похожий на вздох. Он резко оглянулся, но ничего, кроме мрака, не увидел. Вспомнив, что времени совсем мало, с бодрым возгласом «Кайф!» он плюхнулся в теплую воду, нырнул и поплыл по лунной дорожке легким красивым брассом.

Погрузка подходила к концу. Бомжи сильно устали. Лезвие позволил им напоследок еще один недолгий перекур и дал допить оставшуюся водку.

– Слышь, а кузов-то почти полный, мы там все не поместимся, – вдруг произнес один из бомжей, оторвавшись от горлышка бутылки.

– Не поместимся, – отозвался другой бомж, кашляя и едва ворочая языком.

– Ничего, пешочком прогуляетесь, вам полезно, – тихо засмеялся Серый.

На минуту повисла пауза. Вдруг третий бомж, самый молчаливый, вскочил и метнулся к темному кустарнику.

– Ты куда? – удивленно окликнул его Лезвие.

В ответ послышался тяжелый, удаляющийся топот. Бомж бежал. Другие два уже поднимались на ноги. Они были слабее и пьяней, но в такой темноте имели неплохой шанс исчезнуть, тем более, побежали они в разные стороны.

Шаман вылез из воды. Шумно отфыркиваясь, он достал из кармана куртки маленькое мягкое полотенце, которое прихватил заранее, ибо знал, что непременно искупается этой ночью в реке Кубрь. Вытерся и стал одеваться. Когда он, прыгая на одной ноге, натягивал джинсы, до него донесся тревожный условный свист Лезвия, потом крики, и наконец сухо щелкнул первый выстрел.

\* \* \*

Если бы Василиса могла не дышать, она бы не дышала. Съжившись в кустах, мокрая насквозь, она замерзла, хотя ночь была жаркой. Каждый выстрел отдавался в ней крупной дрожью, словно ее било током. Рука все еще сжимала бутылку колы.

Пляж был залит мутным лунным светом. Несколько минут назад Василиса отчетливо видела силуэт человека, который пришел купаться. Она понятия не имела, кто он и откуда взялся, но чувствовала, что надо сидеть тихо и ждать, когда он уйдет. Он не ушел, а убежал, едва успев натянуть штаны, и пару метров прыгал на одной ноге. Кроссовки у него были на липучках, что-то там застряло, он не сумел застегнуть сразу. Из темноты кричали, свистели, потом стали стрелять.

Три выстрела, четыре. Крики, топот. Василиса впервые в жизни слышала настоящую стрельбу, и у нее ни на миг не возникло утешительного чувства, что это всего лишь страшный сон или кино. Она сразу поняла: люди, явившиеся сюда ночью на машине, убивают по-настоящему.

Она не видела никого из них, кроме одинокого купальщика, но по голосам, доносившимся издали, догадалась, что их человек пять, не меньше.

После четвертого выстрела стало тихо. Василиса решила, что все кончилось. Она заставляла себя верить, что Гриша, Оля и Сережа сидят сейчас, притаившись, точно так же, как она. У них есть хороший шанс. Они выбрали для ночевки самый дальний из корпусов, самый чистый и целый. Вряд странные ночные гости станут обыскивать в темноте развалины бывшего лагеря, они разбираются между собой. Разберутся и уедут. Вот, кажется, заводят мотор. Ну что их сюда принесло, спрашивается? Здесь делать совершенно нечего. Это дикое место, заброшенное и проклятое. Это вроде Бермудского треугольника, но не в западной части Атлантического океана, а на суше, в подмосковных лесах. В тридцатые годы НКВД расстреливало кулаков. В конце пятидесятых построили пионерский лагерь, и каждое лето кто-нибудь из детей тонул в реке, была история с маньяком, который работал массовиком-затейником и успел за месяц убить трех девочек, потом в молоко попала крыса, и несколько детей умерли от отравления. Лет десять назад какой-то бизнесмен арендовал этот кусок земли, чтобы построить шикарный дачный поселок, но был убит при загадочных обстоятельствах. С тех пор никто сюда не совался.

Два мальчика и две девочки, Василиса, Гриша, Оля и Сережа, оказались здесь совершенно случайно. Это была дурацкая авантюра.

Собирались большой компанией на дачу, рано утром загрузились в электричку, но тут выяснилось, что дача отменяется, туда явились родственники, будет полно взрослых. Надо было куда-то деться. Меньше всего хотелось возвращаться в Москву. И вот Гриша вспомнил, что когда-то его родители снимали домик в деревне. Километрах в пяти, на берегу реки, были развалины пионерлагеря. Он облазил их в детстве вдоль и поперек. Любопытно посмотреть, что там сейчас. Поскольку они уже едут в электричке по Савеловской дороге, то вполне логично доехать до станции Катуар, оттуда придется пилить пешком часа три по заброшенной бетонке через лес.

Гриша вдохновенно рассказывал ужастики про заброшенный лагерь, пока тряслись в электричке, и в итоге пять человек сошли в Лобне. Дальше решили ехать только две влюбленные парочки, Сережа с Олей и Гриша с Василисой.

День получился длинный и сумасшедший. В Гришин Бермудский треугольник попали только к вечеру. Пока шли по разбитой бетонке, у Василисы отломился каблук. Босоножки были новые, нещадно терли, она разозлилась, выбросила их и дальше пошла босиком. Часть пути Гриша нес ее на зашивке.

Потом купались в реке, бегали по пустой территории бывшего лагеря, вопили, дурачились и бесились, выпили на четверых две бутылки водки.

Василиса и Гриша почти не пили. Все вылакали Оля и Сережа, к тому же эти двое несчастных влюбленных курили травку. Обнявшись, повиснув друг на друге, они удалились в соседнюю палату. За стенкой долго были слышны характерные звуки. Оля и Сережа занялись главным делом своей жизни. Гриша сказал, что они уже год этим занимаются везде, где можно и нельзя. Не исключено, что они поженятся, когда Оле исполнится восемнадцать. Правда, им негде жить, и родители категорически против.

У них не было с собой ни спальников, ни одеял, только легкие куртки. Оля и Сережа не побрезговали улечься прямо на рваные матрасы, которые в изобилии валялись по всему корпусу. Гриша заранее набрал кучу ельника и сухой травы, сложил все это на занозистом полу бывшей пионерской палаты, расстелил сверху свою куртку.

Василисе было легко и хорошо с ним, словно они знали друг друга не два дня, а сто лет. Они сидели, шептались, только изредка, почти случайно, соприкасаясь то головами, то локтями, вздрагивая и краснея. Наверное, они проговорили бы так до рассвета, а потом отправились купаться. Но Василиса ляпнула глупость, и Гриша обиделся. Она сказала, что не может целоваться с человеком, у которого потные усики.

На самом деле он пока не собирался с ней целоваться. Они оба чувствовали, что рано, и можно все испортить. Просто он потянулся за сигаретами, потерял равновесие, мимоходом скользнул губами по Василисиной щеке. У нее так закружилась голова, что она растерялась и ляпнула глупость про потные усики. Гриша помрачнел, заявил, что пора спать, улегся на свою куртку, отвернулся к стене.

– Спокойной ночи! – сказала Василиса, подошла к выбитому окну и закурила. Она ждала, что он встанет и обнимет ее. Но он продолжал лежать. Он ждал, что она подойдет и уляжется рядом.

Выкурив сигарету, она перемахнула через подоконник и спрыгнула вниз, в высокую мягкую траву. Ей вдруг ужасно захотелось искупаться, прямо сейчас, сию минуту. И еще она вспомнила, что на пляже осталась бутылка колы. Днем они клали в воду у берега несколько бутылок, чтобы охладить.

Оказавшись на пустом пляже, она заплакала и засмеялась одновременно. Река светилась изнутри мягким серебряным светом. На противоположном берегу в кромешной тьме смешанного леса неясно белели тонкие березовые стволы. Песок под босыми ступнями был бархатным и теплым. Раздеваясь, Василиса с веселым ужасом представила, что будет, если сейчас явится сюда Гриша, и тут же поняла, что больше всего на свете хочет именно этого. Но и не хочет, ибо прежде, чем что-то такое случится, он должен все-таки сбрить свои усики.

В воде ей стало казаться, что с нее сползла старая грубая кожа и теперь она все чувствует острее: шепот и щекотку реки, холодок ночного воздуха на мокром лице, прозрачную тяжесть капель на ресницах.

– Гри-ша, – пропела она, перевернувшись на середине реки на спину и глядя в сизый мрак ночного неба, – мне никогда не нравилось это имя. Я никогда не знакоилась в кафе. Это вообще не я, это кто-то другой, тупой и счастливый. Счастливый и тупой Васька.

Василиса услышала собственный тихий смех. А потом далекое ворчание мотора. Сначала она ничуть не испугалась: ну подумаешь, где-то едет машина. Но звук приближался. На всякий случай она подплыла к берегу. Натягивая джинсы и футболку на мокрое тело, с удивлением заметила, что торопится и даже слегка дрожит.

«Да что я психую? Никто сюда не приедет. Прежде чем бежать назад, надо отыскать бутылку колы. Она у нас последняя. Я выпью пару глотков, остальное отнесу в корпус».

Машина подъехала совсем близко. Свет фар почти задел Василису. Она отскочила от двух смутных световых столбов, словно это были живые хищные щупальца, и кинулась к зарослям дикой малины, из последних сил продолжая врать себе, что вовсе не боится, просто хочет найти бутылку колы, которую могло отнести течением именно в ту сторону.

Пока слышались голоса и блуждали толстые фонарные лучи, Василиса сидела в кустах и пыталась сообразить, возможно ли как-то в обход, короткими перебежками, добраться до своих, чтобы не заметили чужие. Потом обнаружила, что в двух шагах от нее из воды торчит горлышко бутылки, и обрадовалась, словно это было добрым знаком. Она уже стала осторожно подниматься, хотела рвануть к темной прогалине между гнилыми досками забора, но рядом послышались шаги, и вспыхнул свет, так близко, что полоснул по лицу. Она медленно опустилась на колени, сжалась в комок и чуть не вскрикнула, спохватившись, что невысокий крепыш может заметить свежие следы ее босых ног на песке. Но он выключил фонарь, разделся, подошел к воде.

Василиса оказалась в ловушке, не знала, сколько еще предстоит ей просидеть в колючих кустах дикой малины, что вообще происходит и что будет дальше. Она верила, что ее друзья догадались не вылезать из дальнего корпуса, не показываться на глаза таинственным и опасным ночным гостям. Ворчание мотора, топот, голоса, даже выстрелы, все это не так уж громко, к тому же корпус далеко, на другом конце лагеря. Оля и Сережа могли вообще не проснуться. А Гриша?

\* \* \*

– Я не приказывал стрелять! – тихо, сквозь зубы, проговорил Шаман.

Серый вздрогнул и резко развернулся, его палец лежал на спусковом крючке, он мог запросто от неожиданности пальнуть в Шамана в упор. Пуля попала бы в живот. На миг в его разгоряченной голове вспыхнула мысль, что это было бы совсем не так плохо.

В темноте глаза Шамана светились. Он смотрел на Серого, не моргая. Он аккуратно вынул пистолет из потной ладони Серого. Еще минута, и дуло уперлось Серому в грудь, слева, прямо в сердце.

– Никогда, ни при каких обстоятельствах не стреляй без моего приказа, – сказал Шаман, и медленно переместил дуло от груди к горлу.

– Шама, успокойся, никто не виноват, вонючки могли уйти, – прозвучал рядом голос Лезвия.

– Куда? – Шаман продолжал держать дуло у горла Серого. – Водка с добавками, через пару-тройку часов они бы все равно сдохли.

– А если нет? – произнес в темноте Лезвие и встал рядом с Серым. – У них желудки луженые. Они могли уйти и выжить.

– Я не приказывал стрелять, – повторил Шаман, – я много раз говорил вам всем, что сначала надо думать, а потом стрелять. Желудки у них самые обыкновенные. Серый, скажи, что ты сорвался. Ты не подумал и сорвался, и больше так никогда не поступишь.

– Я сорвался. Я больше так никогда не поступлю, – послушно просипел Серый.

– Молодец, – кивнул Шаман, – ну а теперь давай по-честному. Что, если ты сделал это нарочно? Тебе проще выстрелить, чем отрабатывать болевые приемы на живых вонючках, верно?

Серый взмок, кровь ударила в лицо, глаза забегали. Хорошо, что было темно. Хотя, кто знает, может, Шама правда видит в темноте? Во всяком случае, читать чужие мысли он умеет.

Серый действительно стрелял в бомжей не случайно. Ему очень не хотелось убивать их руками, ударами по сонным артериям, а перед этим заставлять копать для самих себя могилы под дулами. И он воспользовался тем, что они побежали.

– Ладно, – Шаман опустил пистолет, – придется поработать. Мы не можем оставлять три трупа с нашими пулями. Самих себя они уже не закопают... – он вдруг замолчал и замер.

Остальные повернули фонари в направлении его взгляда. В скрещенных лучах мелькнула фигура человека.

– Я уложил всех троих, – растерянно прошептал Серый.

– Стоять! Милиция! – выкрикнул Лезвие.

В ответ громко зашуршали кусты. Миха и Серый кинулись на звук. Через минуту их фонари осветили парнишку лет семнадцати. Он стоял на коленях над трупом одного из бомжей. Вероятно, споткнулся об него на бегу и теперь пребывал в шоке.

Первым заговорил с ним Лезвие.

– Тихо, пацан, спокойно. Ты здесь один? Что ты здесь делаешь?

– Я ничего не видел и не слышал, – медленно, хрипло произнес парень, – я ничего никому не скажу.

– Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, – прозвучал из темноты мягкий голос Шамана. – Я тоже знаю такую песенку. Так ты здесь один?

– Один, – парень продолжал стоять на коленях над бомжом. Фонари били ему в лицо.

– Врать нехорошо, – вздохнул Шама и едва заметно кивнул Михе и Серому. – Сколько вас? Где остальные?

Миха и Серый обошли парня и встали позади него. Их фонари осветили Шамана.

– Вы?! – ошалело выкрикнул парнишка, вскочил на ноги и уже после выстрела, медленно заваливаясь навзничь, прошептал: – Господи, так не бывает!

На этот раз стрелял сам Шаман. Но Миха и Серый опять оказались виноватыми. Их фонари осветили Шамана, и парень узнал его. Это исключило возможность выбора. Впрочем, выбора все равно не было. Грузовик набит оружием. Скоро начнет светать.

– А если остальные ушли? – тревожно спросил Лезвие.

– Не думаю, – Шаман присел на корточки и осветил фонарем лицо убитого мальчика, – они забрались сюда, чтобы оттянуться. Пили, кололись. Надо посмотреть корпуса, только очень быстро и тихо.

Он оказался прав, как всегда. В самом дальнем корпусе нашли сонную, обкуренную парочку. Их не стали ни о чем спрашивать. Просто пристрелили. Они даже не успели ничего понять.

Лезвие вместе с Шаманом обыскали вещи убитых. Серый и Миха приволокли трупы с улицы.

– Должна быть еще одна девка, – задумчиво произнес Шаман, вертя в руках небольшой джинсовый рюкзачок, который нашли в соседней комнате вместе с мужской курткой, расстеленной на куче травы и лапника, и большой спортивной сумкой.

– Один паспорт, один студенческий, – сообщил Лезвие, – три зубные щетки, три рюкзака, одна сумка.

– Ерунда, – сказал Шаман, – можно либо гадать, либо искать. Первое бесполезно, на второе нет времени.

– Посвети-ка, я посмотрю фотографию в паспорте, – попросил Лезвие.

– Перестань, – Шаман выхватил у него документы, – надо уходить.

Миха и Серый успели принести запасную канистру и уже поливали пол бензином.

Прежде чем бросить джинсовый рюкзачок в бензиновую лужу, Шаман достал оттуда ключи с брелком – плюшевым медвежонком и спрятал в карман вместе с документами.

## Глава вторая

Маша Григорьева бежала по Краснопресненскому бульвару. Ничего глупее нельзя было придумать. Над Москвой висел смог. Горел торф в подмосковных лесах, горела свалка в Люберцах. Никакого кислорода, сплошной угарный газ и прочие яды. Ужасно вредно для здоровья. И все равно Маша встала на час раньше, надела шорты, майку, кроссовки и отправилась бегать.

– У меня все хорошо, – повторяла она в ритме собственного дыхания, – у меня все отлично. Я не буду раскисать, не буду, не хочу.

На самом деле следовало остановиться, дойти пешком до дома, встать под прохладный душ. Она не просто раскисала, она растворялась в пространстве, словно кусок рафинада в чае. В последнее время с ней такое случалось слишком часто. Она становилась маленькой, беспомощной девочкой, потерянной в сутолоке, на вокзале в чужом городе; ребенком, о котором забыли и никогда не придут. Мир вокруг делался уродливым и безнадежным. Воздух – черным и жестким, как наждак. Она знала, что в таких ситуациях требуется помощь психолога. И понимала, что никто не поможет, поскольку сама была профессиональным психологом.

Утром одиннадцатого сентября две тысячи первого года Маша Григорьева, она же Мери Григ, офицер ЦРУ, доктор психологии, человек, проживший половину жизни в России, половину в Америке, проснулась в своей квартире в Гринвич-вилледж от странного, оглушительного гула. Ей показалось, что на крышу ее дома садится гигантский реактивный самолет. В доме имелся выход прямо на крышу, через чердак. Маша вскочила и, как была, в пижаме, босиком, бросилась наверх.

С крыши отрывался вид на Манхэттен. Маша видела своими глазами, как выпрыгивали люди из окон, как рушились башни торгового центра, краса и гордость Америки, знаменитые небоскребы-близнецы. Потом еще долго воздух оставался черным, и ничто не могло перебить мерзкого сладковатого запаха. Маше казалось, что ее квартира, салон машины, одежда и даже кожа пахнут этой гарью.

И вот сейчас Москва, окруженная горящими лесами и торфяниками, пахла примерно также. Впрочем, ничего странного. Просто гарь и духота мутили мозги и навевали жуткие воспоминания.

Маша Григорьева родилась в Москве, в 1972 году. Ее отец служил в КГБ, во внешней разведке. Родители развелись, когда ей исполнилось семь. Мама вышла замуж за известного артиста. Папа женился на своей коллеге, был направлен в Вашингтон, в посольство. В 1984-м он сбежал к американцам и стал работать на ЦРУ. Маша, разумеется, ничего об этом не знала. Она жила с мамой и маминым мужем. Артист любил выпить, мог пьяным сесть за руль. Однажды это кончилось катастрофой. Маша осталась сиротой, с ней произошло много всего плохого.

В 1986-м ее родному отцу Андрею Евгеньевичу Григорьеву удалось за большие взятки, с помощью Международного Красного Креста, вывезти ее в Америку. Она стала стопроцентной американкой, закончила Гарвард и школу ЦРУ. Шеф ее отца, глава русского сектора ЦРУ Билли Макмерфи, который с самого начала принимал активное участие в судьбе девочки, взял ее к себе на работу.

Два года назад Макмерфи отправил Машу в Москву.

Самое значительное американское лобби в российском парламенте представляла фракция «Свобода выбора». Возглавлял ее Евгений Николаевич Рязанцев. В этого политика и его партию было вбито много американских денег. В мае 2000 года американский политолог Томас Бриттен, работавший в пресс-центре «Свободы выбора», официально числившийся постоян-

ным консультантом по связям с общественностью, был убит в Москве, и не просто убит, а вместе с пресс-секретарем Рязанцева, Викторией Кравцовой, в ее квартире, в ее постели.

Томас Бриттен был офицером ЦРУ. Виктория Кравцова – последней любовью политика-демократа, вскормленного американскими деньгами.

Мери Григ неофициально принимала участие в расследовании, вытягивала из депрессии Евгения Николаевича Рязанцева и временно взяла на себя функции его пресс-секретаря.

Убийца был найден. Предполагалось, что Маша останется в Москве на несколько лет и заменит Бриттена. Но случилось так, что на нее вышел бывший шеф ее отца, генерал ФСБ Всеволод Сергеевич Кумарин, давний противник Билла Макмерфи. Офицер Григ обязана была сообщить об этом контакте. Ее тут же отозвали домой, в Нью-Йорк.

Следующие два года она занималась рутинной кабинетной работой. Ее ввели в группу аналитиков, которые пытались прогнозировать политическое будущее России. Маше приходилось проводить многие часы перед экраном телевизора, сидеть в Интернете, читать огромное количество российской прессы.

Главная задача группы сводилась к тому, чтобы определить первую тройку будущих лидеров оппозиции, назвать имена людей, которые имеют реальные шансы через несколько лет стать значимой общественно-политической силой. Но чем больше работали аналитики, тем дальше уходили от решения задачи. Никто не мог с уверенностью назвать ни одного имени. Получалось, что сегодня в России нет авторитетов, даже само это слово вызывает ассоциацию исключительно с уголовниками.

Однажды, наблюдая на экране потную беготню участников очередного экстремального шоу, Маша обратила внимание на ведущего. Это был человек-бренд, человек-коммерческий проект. Звали его Владимир Приз. Фамилия настоящая, не псевдоним. На вид лет тридцать. Весь жилистый, крепкий, подвижный. Мужественная открытая физиономия, темные волосы, голубые глаза, ясная улыбка. Профессиональный актер Приз, снявшийся в нескольких боевиках, отлично смотрелся на экране. Казалось, прикажи он игрокам встать на четвереньки и захрюкать или броситься со скалы без страховки, и они с восторгом сделают это.

Потом она увидела его же на церемонии вручения одной из главных телепремий года. Премировали сериал, в котором Приз сыграл главную роль. Когда раскрыли конверт с именем победителя по номинации «лучшая операторская работа», на сцену вместо названного оператора поднялась пожилая женщина, одетая слишком просто для такого торжества. Она быстро подошла к ведущему и что-то прошептала ему на ухо. Ведущий смутился, помрачнел и долго откашливался, прежде чем начал говорить.

– Друзья мои! Только что стало известно, что наш уважаемый и любимый Федор Владимирович скончался от острой сердечной недостаточности.

В зале повисла тишина. Оператор многие годы проработал на киностудии «Мосфильм», снял несколько десятков фильмов. У него любили сниматься все звезды, сидевшие в этом зале. Телекамера медленно заскользила по рядам. Кто-то сидел с ошеломленным застывшим лицом, кто-то плакал. Грохнуло несколько стульев. Один за другим люди стали подниматься, чтобы почтить память. В центре третьего ряда сидел Приз. Развалившись, он энергично двигал челюстями, жевал жвачку. Глаза его были пусты и прозрачны. Камера задержалась на нем довольно долго.

После минуты молчания церемония продолжилась, но уже не так весело. Вскрытие конвертов и награждение победителей чередовалось с концертными номерами. Сатириков и куплетистов на сцену больше не выпускали. Широкоплечая танцовщица с толстой длинной шеей и маленькой змеиной головкой исполнила эротический танец под «Реквием» Моцарта. Белокурый тенор в парчовом фраке, с конусообразным лицом и такими же ляжками спел арию Ленского перед дуэлью. Аплодисменты звучали вяло. Победители в разных номинациях уже

не улыбались и не шутили, получая награды. Каждый считал своим долгом сказать несколько печальных добрых слов об умершем операторе.

Камера постоянно фиксировала энергичные челюсти и прозрачные глаза Приза. Наконец, настала его очередь. Его объявили победителем по номинации «лучшая мужская роль». Он взбежал на сцену легко, пружинисто, просиял улыбкой, рассказал, как счастлив, как все классно, и скоро наше кино станет самым лучшим кино в мире. Он смачно расцеловал красотку, которая вручала ему награду, и похлопал ее по попе. Жест, более уместный в деревенской пивной, чем на сцене одного из самых солидных клубов Москвы. Но все остались довольны. Девушка в ответ радостно захихикала. Волна облегчения и благодарности пробежала по залу. Публика ожила, кто-то с галерки крикнул «Уау!». Праздник опять стал праздником. Сразу после Приза на сцену выскочил жирненький куплетист в кружевном женском белье и, приплясывая, запел под гармонику. Зал покатывался со смеху.

Маша стала целенаправленно отслеживать все, что касалось Вовы Приза. Читала его интервью, смотрела сериалы, ток-шоу и телеигры с его участием. Параллельно она взялась за изучение разных молодежных групп, формальных и неформальных. Во всем этом бодром хаосе не было ничего нового и ничего опасного. Но если появится магнит и создаст центростремительное движение, если кому-то удастся объединить под своим флагом энергичные стада молодежи, они превратятся в серьезную силу. Сегодня они просто орут, хулиганят, устраивают уличные побоища. Общество никак на них не реагирует. Но стоит только сказать им «Ату!», и что они натворят, страшно представить. При известном российском бардаке завтра они могут добраться и до ядерного оружия.

Эти мрачные прогнозы аналитик Мери Григ выдавала своему руководству без всякой радости.

– Нет такого магнита, – возражало руководство, – нет ни идеологии, ни конкретного человека, ничего, что могло бы объединить разрозненные группировки в единую структуру.

Маша долго не решалась произнести вслух то, о чем думала постоянно. Она боялась стать посмешищем. И все-таки однажды, в запале очередного спора, назвала имя: Владимир Приз.

В ответ она получила именно ту реакцию, какую ожидала: «Этот актеришко? Этот мачо? Он наглый мальчишка с симпатичной мордой, не более. Он никогда не полезет в политику».

Над ней смеялись: она вычислила будущего русского фюрера, но сегодня это не актуально. Однако сказать, что же актуально, назвать хотя бы одно альтернативное имя никто так и не сумел.

Проплаченные кумиры, искусственно раздутые люди-бренды вызывали временный ажиотаж, нездоровое любопытство публики. Но им не верили, их не любили. Стоило им исчезнуть с телеэкрана, их забывали. Однако, если они застревали на экране слишком долго, появлялись слишком часто, их лица надоедали. Единственным исключением был Вова Приз. Он не надоедал. Популярность его росла. Он сумел стать точкой пересечения больших денег и большой народной любви.

Роли на политической сцене были давно распределены. Резонеры, злодеи, шуты, плуты, комические вояки, ледяные жлобы, веселые гуляки-пофигисты. Они успели по двадцать раз переругаться, примириться, прокрутить свои балаганные интриги. Они устали от вечных повторений. Они смертельно надоели друг другу и публике. Стало модно привлекать в политические структуры звезд эстрады и шоу-бизнеса. Весной 2002 года Владимир Приз вступил в партию «Свобода выбора». Это было выгодно и партии, и ему.

В начале лета в России довольно вяло развернулась кампания по слиянию трех оппозиционных партий и выдвижению единого кандидата от оппозиции. Вова Приз стал рекламным лицом партии «Свобода выбора». Пожилой вялый Рязанцев заметно проигрывал на его фоне.

От Маши сначала потребовали подробного доклада об этом мачо. Затем предупредили, что в августе ей предстоит отправиться в Москву.

– Знакомиться с Призом? – уточнила она.

В ответ раздался веселый смех, хотя ничего смешного она не сказала.

– Нет, – объяснили ей, – как и в прошлый раз, главная ваша задача – господин Рязанцев.

Она прилетела в Москву вчера вечером, никому не стала звонить, решила для начала отоспаться. В отличие от прошлого раза, поселили ее в удобной двухкомнатной квартире, в Шмидтовском проезде, неподалеку от Краснопресненской набережной. Утром Маша отправилась бегать по бульвару. Она бежала медленной рысцой и думала о том, что партии могут и не объединиться. Их лидеры слишком долго и усердно поливали друг друга грязью. Они перегрызутся, продолжая сводить счеты и решая, кто станет главным. В принципе, если объединение состоится, главным обязан стать господин Рязанцев. В него вложено много американских денег. Его партия существует под контролем ЦРУ, возглавляемая им думская фракция – американское лобби в российском парламенте. Но у господина Рязанцева опять депрессия. Задача офицера ЦРУ, психолога Мери Григ определить, насколько глубок кризис, способен ли Рязанцев выйти из депрессии и продолжить работу. Или это конец его политической карьеры, и надо искать замену.

– О, черт!

Маша поскользнулась и чуть не упала. В нос ударила вонь. Прямо посреди аллеи кто-то навалил кучу, и Маша умудрилась наступить. Морщась, она перешла с аллеи на травку и принялась вытирать подошвы.

«Вот и побегала. Вот тебе и первое московское утро. Прелестное начало. Нет, правда, прелестное! Было бы значительно хуже, если бы это оказалось взрывное устройство», – утешила себя Маша и, кое-как очистив кроссовки, огляделась.

На самом деле, в парке было красиво. Розовая дымка придавала чахлым городским тополям и липам нечто таинственное, сказочное. В голове, конечно, муть, совершенная каша от недостатка кислорода, зато какое чудо это матовое утреннее солнце. На него можно смотреть, не щурясь.

За кустами раздался бодрый топот. Кто-то бежал по аллее. Было слышно тяжелое дыхание. Внезапно топот прекратился. Молодой мужской голос совсем близко произнес, сквозь одышку:

– Стой, блин, у меня шнурок развязался!

– Твою мать! Давай быстрее!

Двое остановились в метре от Маши. Ей совершенно не хотелось, чтобы они ее увидели. Она замерла за кустами и только слегка переместилась, чтобы посмотреть на бегунов. Возможно, это и есть авторы кучи дерьма. Впрочем, какая разница? Может, дерьмо вовсе собачье, она ведь не специалист.

Юноши были накачанные, бритые наголо. На обоих черные боксерские майки и черные широкие трусы до колен. Маша разглядела профиль того, который наклонился, чтобы завязать шнурок. И еще она успела заметить наколку у него на плече: мертвая голова, крупный, размером с большую грушу, череп. Второй качок стоял спиной, чуть дальше. На его плече темнело пятно, наверное, такой же череп.

«Точно, дерьмо – их работа, – зло подумала Маша, – гады, ненавижу!»

Качки убежали. Впереди был длинный, тяжелый день. Первый день в Москве. Маша перевела дыхание и продолжила чистить подошвы.

Ничего страшного. Наоборот, все отлично. Надо уметь радоваться жизни и быть счастливой хотя бы оттого, что под ногами оказались какашки, а не взрывчатка.

Часть пути до выхода из парка она решила пройти по траве, параллельно аллее, чтобы окончательно очистить кроссовки. Туман был настолько густой, что она видела перед собой

метра на три, не дальше. Впереди, где по ее расчетам кончался травяной газон и шли кусты, отгораживающие его от асфальтовой аллеи, она заметила какой-то транспарант, высотой метра в два. Это был кусок фанеры, прибитый к палке. На белом фоне гигантские красные буквы: «БЕЙ ЖИДОВ!» Внизу кривая свастика.

«Здрассти вам! – рявкнул кто-то в голове у Маши чужим противным голосом и тут же добавил: – Стой, где стоишь!».

В Нью-Йорке Маша видела в новостях пару подобных сюжетов. Первый такой транспарант появился на Киевском шоссе, в нескольких километрах от Москвы. Молодая женщина остановила машину, чтобы убрать эту гадость, и подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Это передали все информационные агентства. Милиция и ФСБ выступили с невнятными заявлениями о несовершеннолетних хулиганах, которые, безусловно, будут пойманы и наказаны, но никакой серьезной террористической организации за ними не стоит. Смелая женщина, к счастью, выжила. Потом появились сразу пять таких транспарантов, тоже на трассах у кольцевой дороги. Два из них оказались заминированы. Однако никто не пострадал.

Мобильный телефон был прикреплен к поясу шортов. Маша позвонила в милицию. Пока она ждала приезда группы, у нее за спиной послышался шорох. Прямо на нее шла дворничиха с метлой.

– Ой, батюшки! Это чего ж такое?

– Стойте! Дальше нельзя! Сейчас приедет милиция, – сказала Маша.

Надо отдать им должное, группа явилась быстро, сработала толково и оперативно. Под транспарантом оказалось самодельное взрывное устройство, довольно мощное. Маша подробно описала двух бритоголовых качков и оставила милиционеру номер своего мобильного.

«Вот тебе и Москва, – повторяла Маша, стоя под прохладным душем, – вот тебе и прелестное начало дня».

\* \* \*

Пахло гарью. Небо стало черным. Василиса с трудом поднялась и тут же упала. Ноги затекли, она их почти не чувствовала. Часов она не носила, и понятия не имела, который час. Было светло, несмотря на черноту неба. Над противоположным берегом реки Кубрь, над кромкой леса, висел жемчужно-розовый солнечный диск. У Василисы слезились глаза, щипало в носу. Она чихнула и пришла в себя.

Сколько она проспала? Как могло случиться, что она заснула у реки, в кустах дикой малины? Она собиралась отсидеться, дожидаться, когда уедут страшные чужие мужики, и вернуться к своим, с трофеем, с бутылкой колы. Но бутылка оказалась пустой. Василиса нечаянно опрокинула ее, незакрытую.

Там, где должны были ждать ее Гриша, Оля и Сережа, чернели клубы дыма. Корпуса полыхали открытым пламенем.

Она все-таки встала, на ватных ногах сделала несколько шагов по песку, к воде, ополоснула лицо, промыла глаза. Вода была почти горячей и тоже пахла гарью. Дым становился все гуще. Сквозь мрак виднелась фигура девочки с мячом, объятая пламенем. Причудливая игра огненных бликов делала мертвый гипс подвижным и живым. Минуту Василиса с ужасом смотрела на скульптуру и вдруг стала задыхаться, словно от приступа астмы. Она потеряла равновесие и упала. Несколько метров проползла по песку, вздрогнула, наткнувшись ладонью на что-то твердое, сжала кулаки, стиснула зубы, пытаясь справиться со страшным искушением просто заорать, забиться в дикой безнадежной истерике. Так, со сжатыми кулаками, зажмурившись, она невероятным усилием воли заставила себя опять подняться на ноги.

Когда ужас немного отпустил, она открыла глаза, медленно втянула ноздрями горький едкий воздух, разжала кулаки. На правой ладони, в горсти горячего песка, тускло блеснул кусок металла.

Это был перстень с печаткой. Василиса вдруг отчетливо вспомнила крепыша купальщика. Наблюдая за ним, она машинально отметила, как он стянул что-то с пальца левой руки и положил в карман джинсов. Снял кольцо, но не снял часы. Наверное, они водонепроницаемые. С ними ничего не случится. А кольцо может соскользнуть в воде.

Ей захотелось тут же закинуть перстень подальше, она уже замахнулась, подняла руку, но в последний момент стиснула пальцы.

«Это может быть улика, все сторгит, ничего не останется, их никогда не найдут».

Надежней всего было надеть перстень. Он оказался не таким уж большим и со среднего пальца правой руки не сваливался.

Внезапно ее будто шарахнуло током, дрожь пробежала по телу. Ей показалось, что рядом опять стреляют, причем звучат не отдельные выстрелы, а очередь. Но нет, это просто что-то там лопалось и трещало от огня. Рухнула крыша дальнего корпуса. Сноп искр взметнулся высоко в черное небо. Василиса решила взглянуть сквозь дым, туда, где горело сильнее всего. Там полыхал уже не только деревянный корпус, но и деревья. Несколько сухих старых берез были похожи на гигантские факелы, окруженные снизу дрожащими кругами из мелких язычков пламени. Круги расширились, росли на глазах. Вспыхивали ветки, тлела и трещала трава.

Василиса глубоко вздохнула, собрала с силами и попыталась крикнуть: «Гриша!» Но в горле першило, никакого звука не было. Все заглушал треск горящего леса, она не услышала даже собственного надрывного кашля.

Ни о чем больше не думая, задыхаясь от дыма и слез, она пошла прочь, вдоль берега реки. Кустарник подходил вплотную к воде, ноги по щиколотку увязали в прибрежном теплом иле. Надо было идти быстрее, но не получалось. Ей стало казаться, что она вообще не продвигается вперед. Сколько она ни шла, треск за спиной не делался тише. Огонь догонял ее. Василиса боялась оглянуться и постоянно кашляла от дыма. В какой-то момент ей послышался новый звук, громкий рокот мотора. Сначала она решила, что все-таки добралась до шоссе, однако потом сообразила, что звук идет от реки. Она как раз подошла к излучине и не могла видеть, что там, за поворотом. По движению воды, по зыбким расходящимся полосам она догадалась, что это катер, и уже хотела крикнуть, замахать руками. Но вместо крика из горла вылетел слабый неслышный хрип, а стоило взмахнуть руками, и Василиса потеряла равновесие, свалилась в высокую острую осоку, лицом в ил.

\* \* \*

Нельзя оставлять трупы с пулями внутри. Нельзя оставлять живых свидетелей. Нельзя возвращаться туда, где наследил. Тем более глупо возвращаться, когда там все полыхает открытым пламенем. Но фаланга левого мизинца покраснела и стала зудеть.

Перстень был его единственным талисманом. Он ничего не носил на шее, на запястье надевал только платиновый «Роллекс». Он не терпел побрякушек, не верил в обереги и прочую мистику, но за своим перстнем готов был ползть в огонь и в воду.

Оружие благополучно довели и разгрузили. Временным пристанищем нескольких гаубиц, ящиков с гранатами и прочего железа послужил просторный подвал дачи, которая когда-то принадлежала родному дяде Шамана, а теперь стала его собственностью вместе с участком в пятнадцать соток, добротной банькой, бассейном и теннисным кортом. Безусловно, прятать там железо было рискованно, и если бы не пожары, Шаман никогда бы не пошел на это. Но в сегодняшней ситуации более надежного места он придумать не мог, к тому же представить, что кто-нибудь нагрянет туда с обыском, было практически невозможно.

Лезвие, Миха и Серый завалились спать. Шаман спать не хотел, но чувствовал себя разбитым. Мысль о перстне не давала покоя. После контрастного душа, плотного завтрака и крепкого кофе он немного посидел в одиночестве на веранде. Из-за смока окна были закрыты. Мощный кондиционер, как мог, охлаждал воздух. На журнальном столе лежали паспорт и студенческий билет. С билетом все было ясно. Он принадлежал студенту второго курса Медицинского института Королеву Григорию Николаевичу, 1984 года рождения, тому самому парню, который наткнулся на мертвого бомжа и был убит первым. Что касается паспорта, тут возникли неприятные сомнения.

Грачева Василиса Игоревна, 1985 года рождения, внимательно смотрела на Шамана с маленькой черно-белой фотографии. У нее были большие круглые глаза, широкие черные брови. Темные волосы гладко зачесаны назад, чистое маленькое лицо открыто и не накраслено.

Шаман разглядывал паспортную фотографию и пытался вспомнить убитую девушку. Перед ним вставал совсем другой образ. Взлохмаченные желтые волосы, круглые щеки, тонкие брови. Василиса Грачева получила паспорт в 2000-м. Ей было пятнадцать, то есть прошло два года. Девушки в этом возрасте любят экспериментировать со своей внешностью. Она могла подстричь и перекрасить волосы, выщипать брови, похудеть или поправиться. Могла надуть себе губы силиконом до негритянской пухлости. Что касается глаз, то спросонья, да с похмелья, они отекают, меняют форму.

Шаман привычным жестом прикоснулся к фаланге левого мизинца и честно признался себе, что потеря перстня тревожит его значительно больше, чем проблема с Грачевой Василисой Игоревной. Даже если было две девушки, то вторая вряд ли видела кого-то. Она могла слышать голоса, стрельбу, но видеть – нет. В противном случае кто-нибудь из них четверых непременно бы ее заметил.

– Дел много, времени мало, – произнес Шаман и резко поднялся с кресла.

Через десять минут самая неприметная из трех его машин, темно-синяя маленькая «Мицубиси», катила по пустынному шоссе. Маршрут он продумал заранее и аккуратно сверился с картой.

Река Кубрь была тощая, но длинная. Она тянулась на многие километры, сливалась с Румяным озером, и текла дальше, на северо-запад. Румяное озеро находилось всего в десяти километрах от поселка Временки, то есть от дачи Шамана. На берегу озера был небольшой яхт-клуб, там давали напрокат яхты и катера.

Самый банальный камуфляж – джинсовая кепка, темные очки, накладные усы сделал Шамана неузнаваемым. К клубу он не стал подъезжать на машине, оставил ее на парковке у придорожного кафе. Вместо паспорта в качестве залога вручил парню, выдающему катера, две купюры по сто долларов.

– Там дальше все горит, – равнодушно предупредил парень.

– Ну, вода пока не закипела, – ответил Шаман.

Оказавшись на реке, в полном одиночестве, он стал тихо напевать: «Лютики-цветочки у меня в садочке». Он с детства любил эту песню. Ее постоянно пел дядя, шикарный драгоценный дядя Жора, генерал-майор военной авиации. Он был жизнелюб, шутник и обжора, ни в чем себе не отказывал. Умер красиво, по-купечески, в возрасте семидесяти лет. На масленицу обожрался блинами с черной икрой. Ел, ел, поперхнулся, закашлялся, рухнул на персидский ковер, и все. Он весил столько, что санитары долго не могли поднять на носилках его тело в светлом кашемировом костюме, заляпанном икрой и маслом. Он не имел детей и все свое имущество оставил любимому племяннику, которого много лет назад баюкал дурацкой песенкой.

Однажды, засыпая, маленький племянник спросил, о чем эта песня.

– О людях, – ответил дядя, – люди, они – как лютики, слабенькие, липкие цветочки. Липкие и ядовитые. Лютик от слова «лютый».

Чем ближе подплывал катер к заброшенному лагерю, тем трудней становилось дышать. Лес вдоль правого берега еще не горел по-настоящему, но уже тлел сухой прошлогодний валежник. Катер несся на максимальной скорости, вспарывая мутную речную гладь. Из-за рева мотора Шаман не слышал собственного голоса, от дыма слезились глаза. Но он продолжал петь.

Сегодня ночью к его послужному списку прибавилось сразу шесть убитых. Это не много и не мало, не хорошо и не плохо. Дядя, человек военный, часто повторял: в отношении любого объекта сначала необходимо понять, существует он или нет. Три бомжа были несуществующими объектами. Спившиеся безобразные вонючки. А три подростка? Они оказались там, где их не должно быть. Значит, тоже стали несуществующими объектами. Они приехали, чтобы пить, курить травку, колоться. Они ядовитые лютики.

«Лютики-цветочки у меня в садочке». Они пробуют жить, и все не начинают жить, поскольку не знают, как это делается. В «лютиках» заложена генетическая программа на самоуничтожение. В какие бы условия они ни попадали, непременно изгадят окружающую среду. В принципе, их можно вообще не трогать, они дышат сами. Но слишком медленно, и слишком много при этом вони.

Чем цивилизованней и благополучней общество, тем больше в нем лжи и лицемерия, тем безрассудней оно тратит средства на то, чтобы заглушить вонь от собственных отбросов. Сколько денег уходит на идиотов, даунов, на сумасшедших пьяниц и наркоманов, на гниющих стариков, на всякие интернаты, хосписы и лепрозории? При одной только мысли об этом Шамана тошнило. Жизнь слишком коротка, чтобы врать. В истории человечества существуют примеры здоровых, развитых и свободных от лицемерия обществ. Древняя Спарта, Римская империя, Третий рейх, коммунистическая Россия. Там слабые рационально использовались и уничтожались, сильные жили в свое удовольствие.

Сейчас в России выросло и окрепло поколение молодых людей, для которых главная ценность – они сами. Их не проведешь на мякине, не утопишь в соплях. Они знают, чего хотят, и своего не упустят. Они не корчат постных рож на чужих похоронах и, говоря о деньгах, никогда не добавляют, потупившись, что дело вовсе не в деньгах. На них можно опереться. Они свободны от гнилой рефлексии. Они не подведут.

Конечно, такие люди были всегда, но им приходилось притворяться, изображать паинек, зайчиков, лютиков, разыгрывать любовь к младенцам и старушкам, уважение к научно-академическим придуркам, которые считают себя гениями оттого, что тратят собственную жизнь и государственные деньги на изучение амебы или черепков от ночного горшка тысячетней давности. Но теперь с этим покончено. Общество созрело, чтобы стать здоровым и гармоничным. Для его разумного переустройства не надо никаких революций. Революции, как известно, плохо кончаются и пожирают своих детей. Нужны, во-первых, деньги, и во-вторых – тоже деньги. А в-третьих – надо до конца прокрутить известный «принцип худшего» Макиавелли. Общество должно озвереть от преступности, наркотиков, от бардака во всех областях жизни. Люди-лютики обязаны осознать собственное убожество и возненавидеть власть, которая не может и не желает их защищать, кормить, лечить, обеспечивать счастливое детство и спокойную старость.

Риторические упражнения помогали Шаме справляться с дурным настроением не хуже, чем песенка про лютики. Он плохо учился в школе и в институте, с трудом мог осилить более двух страниц текста, не отвлекаясь. Историю Шама знал по голливудскому кино. Литературу и философию – по хлестким цитатам и крылатым выражениям, которые употреблялись в телевизионных ток-шоу. Собственные рассуждения о правильном и неправильном устройстве общества казались ему абсолютно свежими и оригинальными. Что касается Никколо Макиавелли, то имя это он слышал от дяди-генерала, а тот, в свою очередь, от Юрия Андропова. А слово «рефлексия» ему просто нравилось, но он не понимал, что оно значит, поскольку не имел привычки заглядывать в толковые словари.

Шама был девственно, стерильно необразован, однако это не мешало ему быть умным, бодрым и хитрым. В определенном смысле это даже помогало. Чем больше человек знает, тем сильнее сомневается в своей компетентности и в своей правоте.

Шама не ведал сомнений. Шама был всемогущ и очень умен, прежде всего потому, что никогда не оставлял за собой трупов с пулевыми ранениями, не возвращался туда, где наследил, и свои социально-философские теории озвучивал только в узком кругу единомышленников, которые учились еще хуже, чем он, и слушали его, не перебивая.

Он любил, когда его слушают, когда на него смотрят. Еще в раннем детстве ничто так не оскорбляло Шаму, как равнодушные, скользкие мимо взгляды. Если его не замечали, он бесился, все в нем кипело, бурлило, кровь прилиwała к лицу, кулаки сжимались. Ему хотелось убить тех, кто на него не смотрел, кто пренебрегал им. Желание впечатлять оставалось единственной его слабостью и неутолимой страстью. Всегда, при любых обстоятельствах, вопреки здравому смыслу, он не забывал любоваться собой и работать на публику, даже если эта публика состояла из одного зрителя.

То, что мальчик, наткнувшийся в кустах на мертвого бомжа, мгновенно узнал Шамана, было важно. Среди всех бурных событий прошедшей ночи искреннее, удивленное восклицание «ВЫ?!» оставило в душе Шамы приятный, полезный для здоровья след.

Чем ближе он подплывал к маленькому песчаному пляжу, тем гуще был дым и ярче огненные блики. Языки пламени отражались в реке, расходились ровными волнами от катера. Это выглядело классно, как в кино. Помня о коварстве угарного газа, он прихватил с собой респиратор, небольшой легкий намордник, который мог временно защитить от вредных воздушных примесей. Такими намордниками он и его товарищи пользовались, когда приходилось испытывать на бомжах-вонючках новые виды газового оружия.

Наконец он причалил к пляжу, привязал катер к столбу, оставшемуся от старого забора. Следовало спешить. Вокруг пляжа было несколько сухих деревьев, они могли в любой момент вспыхнуть и рухнуть. Шаман стал ориентироваться по следам. Поскольку кроме него на этом пляже никого не было, оставалось просто пройти до того места, где он раздевался. Кольцо могло лежать только там. Скорее всего, оно выпало из кармана, когда он натягивал джинсы.

На ровной, бархатной поверхности песка он увидел четкие отпечатки подошв своих кроссовок и босых ног, заметил глубокие крупные вмятины там, где раздевался и оставлял джинсы. Опустившись на колени, он принялся шарить по песку, перебирать его, пересыпать в ладонях.

Дым ел глаза, слезы мешали видеть. Темно-серебристый блеск то и дело мерещился ему в гуще влажных песчинок. Он уже понял, что нет перстня, но продолжал искать. Раздражение и злость высушили слезы. На несколько минут зрение его стало острым, как у ночного животного. Рядом с собственными следами он заметил другие, маленькие аккуратные отпечатки босых ног, детских или девичьих. Они были беспорядочно разбросаны по пляжу, чередовались с глубокими вмятинами от локтей и колен, вели к воде, от воды, к тому месту, где он сейчас искал свой перстень, и наконец уходили вправо, к зарослям дикой малины.

– Грачева Василиса Игоревна, – тихо, задумчиво произнес Шаман, поднимаясь на ноги.

## Глава третья

Что-то неприятное было в этой маленькой сине-розовой гостинице. Розовые стены, синие диваны и кресла в фойе. Розовое нарумяненное лицо и синие волосы девушки-портъе за стойкой. Вазочка с бесплатными карамельками для гостей, тоже розовая, с синими цветочками.

Гостиница называлась «Манхэттен» и находилась напротив вокзала, в центре Франкфурта-на-Майне. От вокзальной площади к финансовому сердцу города, Маленькому Манхэттену, району небоскребов, банков и офисов, шло сразу три улицы, и все арабские. Множество магазинов с коврами и дешевым золотом, мини-маркеты, где любая вещь стоит не дороже трех евро. Фруктовые лавки с горками орехов и штабелями из напудренных кубиков рахат-лукума. Подозрительные темные кофейни, где курят кальяны с дурманящими добавками, и за небольшую плату в отдельных кабинетах можно получить массу разнообразных удовольствий.

Несмотря на близость вокзала и дешевые соблазны, здесь было мало народу. После известных событий 11 сентября немцы бойкотировали арабские районы. Из-за этого бойкота, а также из-за частых полицейских облав, закрывалось множество бизнесов.

Гостиница «Манхэттен» стояла почти пустая. Для людей среднего достатка она была дорогой. Для богатых недостаточно удобной и престижной. Своих четырех звезд она не оправдывала. В общем, так себе отельчик. Зато никаких прослушек, видеокамер и прочих пакостей.

Андрей Евгеньевич Григорьев прилетел вечером из Нью-Йорка, страшно устал от перелета. Он давно не путешествовал, надеялся, что поездка в Германию его взбодрит, но пока получалось наоборот. Все раздражало. Во-первых, ни в аэропорту, ни тем более в самолете нельзя было курить. Во-вторых, пришлось провести в очередях на досмотр в общей сложности часа четыре. Досматривали тщательно, но бестолково. У Григорьева отняли маникюрные ножницы. У пожилой дамы, которая проходила перед ним, – пинцет для бровей. А потом, в международной зоне, какой-то пьяненький русский с нервным смехом рассказывал, что эти лохи даже не заметили у него в кейсе старинный осетинский кинжал, который он за дикие бабки купил на Брайтоне и вывозил без всякого особого разрешения. Он не постеснялся тут же, во фришопе, продемонстрировать свое приобретение.

Франкфуртский аэропорт оглушил Григорьева. Густая толпа вынесла его в гигантский зал прилетов, где крутились и грохотали чемоданами больше ста багажных лент. У стоянки такси выстроилась длинная очередь. В городе открывалась очередная международная ярмарка.

Андрея Евгеньевича не покидало чувство бессмысленности, какой-то любительской театральности затеи с его прилетом в Германию. Ему было слишком много лет, чтобы играть в шпионские игры. Его дело – сидеть дома, в тишайшем уголке Бруклина, цедить информацию из разных источников, копаться в ней, анализировать, делать выводы, выстраивать прогнозы. Однако на этой поездке настаивали сразу два его руководителя: глава русского сектора ЦРУ Билл Макмерфи и генерал ФСБ, глава Управления Глубокого Погружения, Всеволод Сергеевич Кумарин. У каждого были на то свои причины.

Официально Андрей Евгеньевич Григорьев являлся бывшим полковником КГБ, который сбежал к американцам и стал сотрудничать с ЦРУ. Почти двадцать лет назад его на родине приговорили за это к расстрелу. На самом деле полковник Григорьев все эти годы продолжал работать на Россию. То есть на Управление Глубокого Погружения, на загадочную структуру, которая зародилась в недрах КГБ незадолго до развала СССР, до сих пор существовала вполне успешно и умудрялась держать под своим контролем если не всю финансово-политическую систему России, то хотя бы часть этой системы.

После американской катастрофы 11 сентября прошел почти год, но реальные организаторы так и не были обнаружены. Рассматривалось 47 тысяч версий и сигналов с мест, множество психов рвалось взять на себя вину либо выступить в роли свидетелей. Все оказыва-

лось блефом, тупиком. Поисками, прямыми и косвенными, занимались спецслужбы, не только США, но и Европы, и даже России. Каждая очередная порция информации еще больше запутывала расследование.

За два дня до катастрофы между Григорьевым и Макмерфи произошел забавный разговор. Они ужинали в итальянском ресторане в Манхэттене. Макмерфи, ловко наматывая спагетти на вилку, рассуждал о том, что во всех нынешних бедах России виновато КГБ.

– Знаешь, Эндрю, все эти липовые фирмы в оффшорных зонах, открытые КГБ в начале девяностых, они вроде черных дыр втянули в себя Россию. Им за копейки продавали нефть, лес, металл, а они перепродавали это добро по нормальным рыночным ценам. Прибыль получалась колоссальная. Но им все было мало. Они постоянно вели двойную игру. Вычисляли воров и бандитов, но вместо того, чтобы судить и наказывать, шантажировали их, теснились у их воровских кормушек. Они породили монстра под названием российский криминальный капитализм. Им казалось, что, участвуя в отмывании и перекачивании криминального капитала, они контролируют процесс. На самом деле они питали эту черную стихию, и стихия их всосала, как воронка.

– Они питали самих себя, – сказал Григорьев и отправил в рот розовый, нежный кусок лососины.

– Ну да, – радостно кивнул Макмерфи, – я об этом и говорю. Обжорство, как известно, ни к чему хорошему не приводит. В итоге они разрушили собственную структуру. В России сейчас нет реальной силы, способной противостоять криминалу. Заказные убийства, взрывы жилых домов, дикий разгул экстремизма. Кто за этим стоит? Чеченцы? Олигархи? Воровские авторитеты? МВД? ФСБ? Криминальные сообщества? – Макмерфи сердито помотал головой. – Вот что я тебе скажу, Эндрю. В конечном счете не важно, кто за этим стоит. Важно, что остановить это некому. И я не удивлюсь, если завтра в утренних новостях услышу, что взорвали Кремль!

Билли, конечно, был пьян. Но Григорьев все равно на него разозлился. Его тоже слегка повело от кьянти, воображение разыгралось, он вдруг ясно представил кошмарную картину – взрыв Кремля. И неожиданно для самого себя, выпалил:

– А я не удивлюсь, если завтра кто-нибудь взорвет Пентагон и Манхэттен!

В ответ Макмерфи весело рассмеялся.

Этот разговор происходил вечером девятого сентября. Одиннадцатого сентября, почти одновременно, четыре пассажирских самолета врезались в небоскребы на Манхэттене, и в Пентагон. Погибло более семи тысяч человек.

У Билли Макмерфи случился инфаркт. Через неделю Григорьев навестил своего шефа в госпитале ЦРУ. Бледный, отечный, постаревший Билли, едва увидев Андрея Евгеньевича на пороге палаты, приподнялся на подушках и с хриплым пафосом произнес:

– Я тебя ненавижу, Эндрю! Я тебя когда-нибудь убью!

«Может, он меня отправил сюда, во Франкфурт, потому что всерьез решил убить?» – кисло пошутил про себя Григорьев, заполняя гостиничный бланк у стойки портье.

\* \* \*

Василиса уже не пыталась позвать на помощь. Звук мотора таял и вскоре совсем исчез. Катер проплыл мимо, вокруг опять ни души. Ни одного живого движения и звука. Только упрямое потрескивание вспыхивающей древесины, дрожь языков пламени и черное ядовитое дыханье дыма. Сил хватило на то, чтобы приподнять голову, глотнуть воздуха и перевернуться на спину. Надо было встать и идти, но так хотелось полежать еще немного, не двигаясь. Если закрыть глаза, можно представить, что лежишь не в злом горящем лесу, а дома, в своей комнате, на лохматом мягком коврикe.

«Я посплю капельку, – сказала себе Василиса, как говорила совсем недавно, когда ночами готовилась к экзаменам, – я только на минуту закрою глаза, а потом встану, и вперед».

Дома, ночами, каждый раз получалось, что спала она долго и ничего не успевала. Не помогали ни кофе, ни чай. От холодного душа знобило, несмотря на жару. Она садилась за стол, сжав ладонями виски, читала вслух главы из учебников, зубрила английские «топики», но уставала шея, она опять укладывалась пузом на коврик, с книжкой, и минут через тридцать шептала: «Я посплю капельку».

У нее была отличная память, мозги работали вполне живо. Многое она понимала и схватывала на лету. Но невозможно за пару месяцев наверстать то, на что требуется два года. В десятом и одиннадцатом классах Василиса практически не училась. Она самоутверждалась. Мучительно решала для себя вопрос: красивая она или нет. Положительный и отрицательный ответы чередовались, как день и ночь.

Если посчитать, сколько времени за эти два года она провела перед зеркалом, получится кошмарная цифра. Если к этой цифре прибавить еще количество часов, проведенных в кафе, в гостях, на улице, в ночных клубах, магазинах молодежной одежды и парфюмерии, то не останется практически ничего. Конечно, в школу она иногда ходила, сидела на уроках, но мысленно плавала в странных и мутных водах своих подростковых томлений.

Жила бы она в грязной холодной коммуналке с родителями-алкоголиками; родилась бы инвалидом или, на худой конец, сильно и безответно влюбилась в какого-нибудь подонка, вероятно, было бы проще договориться с самой собой. У нее имелась бы уважительная причина для страданий. Но уважительной причины не было, а страдать хотелось. Впрочем, иногда, наоборот, хотелось бурно радоваться, скакать и вопить во всю глотку. Тоже просто так, без всякой причины.

Василиса родилась здоровой девочкой, в чистенькой двухкомнатной квартире в центре Москвы. Она была единственным ребенком. Родители очень ее любили, правда, пять лет назад они развелись, она осталась с мамой, но с папой виделась часто, он успешно занимался бизнесом и старался, чтобы девочка ни в чем не нуждалась.

Влюбиться она не могла, ни в подонка, ни в кого-либо вообще. Напряженная внутренняя борьба с ветряными мельницами собственных комплексов создавала в ее душе такой грохот и такое пестрое мелькание, что других людей она практически не слышала и не видела.

В ящике ее письменного стола лежало круглое двустороннее зеркальце, одна его сторона была с пятикратным увеличением. Василиса могла часами разглядывать свое лицо во всех подробностях, и подробности эти ее ужасали, особенно когда она сравнивала собственную физиономию с гладкими, вылизанными компьютерным способом личиками журнальных моделей.

«Господи, ну почему я такая страшная? Зачем мне жить, если я уродина? Зачем учиться, поступать в институт?».

Она находила где-нибудь на подбородке едва заметный прыщик и с яростью набрасывалась на него. Через пятнадцать минут он превращался в большую, воспаленную гадость, с которой нельзя выйти на улицу и тем более идти в школу.

Если совсем нечего было расковырять на лице, агрессия саморазрушения направлялась на килограммы веса. Василиса целеустремленно голодала, доводила себя до голодных обмороков. Но вдруг хотелось чего-нибудь вкусенького. Она украдкой от самой себя съедала булочку, шоколадку, мороженое, сначала немного, потом больше, и уже не могла остановиться. Килограммы возвращались на место. Впрочем, никто, кроме нее, этого не замечал, их было всего полтора-два, не больше, этих килограммов.

Когда она плясала на ночных дискотеках, сидела на уроках или в кафе в компании друзей, невозможно было представить, сколько шума, визга и суеты происходит в ее душе. Тоненькая,

ладная, большеглазая девочка, с густыми тяжелыми волосами до пояса. Какие у нее могут быть комплексы?

«Правда, какие комплексы? Ну, их к черту!» – говорила себе Василиса, возвращаясь домой на рассвете после очередной безумной вечеринки, обещая себе, что перепишет, наконец, сочинение, исправит пару по физике. Вместе с учебниками и тетрадями на столе само собой появлялось увеличительное зеркало. Все начиналось сначала. Устав от борьбы, лежа на коврик в своей комнате, Василиса виновато шептала: «Я посплю капельку».

Она засыпала крепко, видела счастливые детские сны и просыпалась другим человеком. Умывшись, глядела в зеркало в ванной и вдруг жутко себе нравилась, начинала громко петь, прыгать, танцевать. Вдохновенно наряжалась, причесывалась, рвалась вон из дома, чтобы срочно кто-нибудь ее, такую красивую, увидел и оценил по достоинству.

Ценители всегда находились. Главным из них в последнее время был некто Герман, шикарный молодой человек, почти вдвое старше нее.

Когда Василиса училась в восьмом классе, он преподавал в ее школе физкультуру. Проработал всего год. Девочки сохли по нему, учительницы приходили в школу надушенные и накрашенные, со свежими парикмахерскими укладками. Он был вкрадчиво любезен с учительницами и благоразумно не обращал ни на кого из учениц внимания. И все-таки Василиса могла поклясться, что уже тогда, в восьмом, он выделял ее, худющую, слегка дикую, из общей стаи вполне зрелых одноклассниц. Он чуть дольше, чем следовало, задерживал на ней взгляд своих узких голубых глаз и, когда страховал ее при прыжке с брусьев или через «козла», обязательно ловил, прикасался сухими горячими лапами, хотя она отлично прыгала и совершенно безопасно приземлялась.

Однажды он застал ее у зеркала в вестибюле. Вокруг никого не было, шел третий урок, Василису отпустили домой, у нее поднялась температура. Физкультурник Герман Борисович внезапно возник у нее за спиной, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга в зеркале, а потом он тихо спросил:

– Нравишься себе?

– Естественно! – Василиса щелкнула заколкой и красиво тряхнула волосами.

– Умница, – он склонился чуть ближе и, почти касаясь губами ее уха, прошептал: – Еще пара лет, и по тебе начнут сходить с ума мужики. А тетки при твоём появлении будут хвататься за своих мужей, как в рыночной толпе хватаются за сумки и карманы, опасаясь воровства.

– Это вы к чему, Герман Борисович? – Василиса развернулась, так резко, что ее тяжелые длинные волосы хлестнули его по лицу.

Он отступил и, улыбнувшись по-дурацки, промычал в ответ нечто невнятное.

Ухо и часть щеки, то место, куда он подышал, потом еще долго пылало. Она кожей вспоминала его теплое дыхание, у нее сладко ныло солнечное сплетение и щекотало в носу, как от цветочной пыльцы. Но тогда, у зеркала, в пустом гулком вестибюле, она ничем себя не выдала. Она чувствовала, что стоит поплыть, как плывут от его роскошной мужественной морды и потрясающей фигуры все остальные особи женского пола, и он перестанет выделять ее из общей массы. И еще, она понимала, что Герман, как таковой, не особенно ее интересует. Просто это отличный способ самоутверждения и лекарство от комплексов.

В девятом он уже не преподавал. Он исчез из школы, и никто не знал, куда. Василиса легко и быстро о нем забыла. Но однажды случайно столкнулась с ним на улице.

Был ноябрь, шел мокрый крупный снег, у Василисы промокли ноги и от жестокого насморка болели барабанные перепонки. Ветряные мельницы внутренней борьбы крутили крыльями с невероятной силой.

Герман увидел ее из машины, остановился, предложил подвезти. Машина у него была шикарная: перламутровый, как нутро ракушки, новенький «Ауди», волшебным образом чистый, несмотря на глубокую слякоть.

С тех пор они стали встречаться довольно часто. Она не могла точно ответить себе на вопрос, зачем. Ей нравилось собираться на эти свидания, носиться по квартире, примерять кофточки, крутиться перед зеркалом, красить губы липким розовым блеском с запахом клубничной жвачки. Нравилось впархивать в его шикарную машину. Нравилось сидеть с ним в каком-нибудь эстетском кафе, где весь дизайн сводится к извивам водопроводных труб и авангардным калякам-малякам на стенах, где орет музыка, взмыленные официанты носятся, обмотанные длинными фартуками цвета хаки. Тут же, в центре зала, повара в колпаках жонглируют пищей и толстыми лоскутами кровавого мяса, все вокруг шипит, дымит, вопит и пахнет, так же оглушительно, как у нее в душе, когда крутят крыльями бессмысленные ветряные мельницы.

Ей не нравилось, когда он опрокидывал в машине спинки сидений и мокро целовал ее в шею и трогал, трогал своими горячими быстрыми лапами. Ей не нравилось бывать в крошечной квартире, которую он называл офисом.

Однажды, когда они кувыркались в этом самом офисе на кожаном диване, он вдруг вскочил, бросился к балкону и завопил, как сумасшедший: «Быстро, вставай, одевайся!».

Через три минуты Василиса опомнилась на лестничной площадке, двумя этажами выше. Было четыре утра. Она услышала, как внизу открылась дверь, как женский голос произнес: «Привет. Ты здесь? А почему не позвонил?» Дверь быстро захлопнулась, Василиса побежала вниз, чтобы поскорей убраться вон отсюда, домой, но вспомнила, что ее сумочка с деньгами, ключами и мобильным телефоном осталась в квартире.

Пока она размышляла, что делать, дверь опять хлопнула. Явился Герман с ее сумочкой. Заикаясь и не глядя в глаза, сообщил, что сейчас ей нужно ехать домой. Протянул сто рублей на такси. Она не взяла. Он спустился с ней вниз, по дороге бормоча грустную историю о свирепой начальнице, пожилой даме, с которой ему приходится спать, иначе она его выгонит с работы, и он умрет с голоду. Внизу, рядом с его «Ауди», стоял красный спортивный «Пежо».

– Она забыла пакет с продуктами в машине, – объяснил Герман, глядя вверх, на окно офиса, – она сейчас в ванной, так что ты быстренько... Прости, я не могу поймать для тебя машину, не успею, но здесь нормально, не опасно. – Он даже попытался поцеловать ее и прошептал, что завтра позвонит.

Василиса еле сдержалась, чтобы не врезать ему по физиономии, и потом долго жалела, что не врезала.

Это было совсем недавно. Всего лишь неделю назад. А еще неделей раньше она завалила экзамены в университет. Самое обидное, что даже не завалила. Просто ее мама легкомысленно мало заплатила нужному человеку. Человек этот даже намекнул Василисе по телефону, накануне последнего экзамена, что следует дать еще. Однако мама улетела в Испанию. Она служила гувернанткой в богатом семействе, воспитывала двенадцатилетнюю чужую девочку. Папа со своей новенькой женой и двумя новенькими маленькими детками отдыхал в Греции.

Что противней, провал экзаменов или Герман с его пожилой начальницей, Василиса не знала. Да это и не важно. Дня три она не вылезала из дома, под орущий телевизор валялась на своем коврик, смотрелась в кривое зеркало, пыталась читать, но строчки расплывались. Пыталась плакать, но тут же засыпала.

Наконец, проснувшись в очередной раз, вымыла голову, причесалась, оделась и отправилась шляться по душной смутной Москве, не просто так, а с конкретной целью. Ей вдруг безумно захотелось купить себе на последние полторы тысячи рублей коричневые джинсы-клевш. Но именно таких джинсов не нашла, устала, забрела в маленькое подвальное кафе на Гоголевском бульваре и познакомилась там с Гришей, а потом он познакомил ее со своими друзьями и пригласил к одному из них на дачу, в итоге они оказались в этом страшном Бермудском треугольнике.

«Я поплю капельку».

Она была уверена, что произнесла это вслух, но собственного голоса не услышала. Рядом ревел мотор. Катер возвращался. Это был последний шанс позвать на помощь. Но шевельнуться и крикнуть казалось невозможно. Она вспомнила, как Гриша пугал всех симптомами отравления угарным газом. Слабость, тошнота, головная боль. Иногда потеря сознания, вплоть до глубокой комы.

«Я капельку поплю».

Во сне она увидела Гришу. Он смотрел на нее живыми ясными глазами. Во сне она решила, что выкинет свое увеличительное зеркало. Она вполне четко увидела, как открывает ящик, достает зеркало в красивой золотистой рамке, смотрится в последний раз, и там возникает ее лицо, вернее то, что осталось от лица. Черные дыры глазниц, оскаленный рот, клочья обугленной кожи...

Василиса сначала вскочила на ноги, а потом уж проснулась и почувствовала жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Секунду назад она дернулась во сне, вскинула руку с воображаемым зеркалом, чтобы отбросить его подальше, и задела тлеющий сучок мертвой, давно рухнувшей елки.

Наверное, она кричала. Но никакого звука не вылетело из ее горла. От этого стало совсем страшно. Надо было бежать, идти, ползти, как можно скорей и как можно дальше отсюда, пока хватит сил.

\* \* \*

Оказавшись в крошечном гостиничном номере, Андрей Евгеньевич Григорьев скинул ботинки и рухнул на целомудренно узкую койку.

«Надо встать, открыть чемодан, принять душ, почистить зубы. Хотя бы просто раздеться и залезть под одеяло», – подумал он.

И тут же уснул.

В номере было тихо, как в пещере. Единственное окно выходило в глухой бетонный колодец. Григорьеву приснилась московская квартира, в которой четверть века назад он, молодой офицер КГБ, жил с женой и дочерью. Дочь Маша, сегодняшняя, взрослая Маша, стопроцентная американка Мери Григ, сидела на диване, поглаживая белого кота Христофора Первого. Покойный кот уютно свернулся у нее на коленях и урчал, как деревенский мотороллер.

Обстановка квартиры была воссоздана довольно точно, но тени расходились неправильно, в разные стороны, независимо от направления света. Зеркало стенного шкафа отражало не книжные полки и угол дивана, а почему-то кухонный стол и разноцветные шариколюстры, которая висела за стеной, в соседней комнате. Ни один из предметов не выдерживал долгого внимательного взгляда, подтекал, оплывал и терял форму, как пластилиновая фигурка на горячей батарее. Когда явилась Катя, жена Григорьева, мать Маши, погибшая в восемьдесят пятом году, подвох стал очевиден. Катя была непомерно большая, в глухом розовом платье до пят. Ткань зыбилась медленными крупными волнами, предательски подчеркивая, что там, под ней, пустота вместо тела. Катя курила толстую сигару, чего никогда не делала при жизни. Аккуратные столбики пепла падали на клетчатый черно-белый ковер, но не рассыпались, а превращались в шахматные фигуры и выстраивались в исходную позицию для игры.

Андрей Евгеньевич чувствовал, что им с Машей надо поскорей покинуть это мертвое прошлое, грубую подделку под воспоминание. Как часто случается в сновидениях, он хотел крикнуть, но из горла вылетала тишина.

Он проснулся в холодном липком поту, уставился в потолок и несколько минут лежал, не в силах шевельнуться, не понимая, где он, удивляясь, что рядом нет белого кота Христо-

фора Второго, кровать слишком узкая, подушка маленькая и плоская, и вообще, все чужое, непривычное.

За окном сияло солнце, такое яркое, что даже каменный колодец был наполнен светом. Часы показывали девять. Сначала он подумал, что девять вечера. Но этого не могло быть. Солнечный свет вечером имеет совсем другие оттенки.

Андрей Евгеньевич прилетел в шесть, в гостиницу попал в восемь, рухнул в койку в половине девятого. Сколько же он проспал?

Во рту было противно, перед сном он не почистил зубы. Из коридора слышался гул пылесоса. Горничные громко переговаривались по-испански. Голоса приближались, наконец постучали в дверь. Не ожидая ответа, появилась темнокожая пожилая толстуха в сине-розовой униформе и на чудовищном немецком сообщила, что ей необходимо срочно проверить содержимое мини-бара.

– Позже! – невежливо рявкнул Григорьев и понял наконец, что на самом деле сейчас девять утра, то есть он проспал больше двенадцати часов.

Такого с ним не случалось лет сто. Он был старый. Старики мало спят. Он привык к своей бессоннице, привык думать ночами, а не видеть многозначительные странные сны.

Горничная сердито хлопнула дверью. Андрей Евгеньевич снял с себя мятую, влажную рубашку, джинсы и прошлепал босиком в ослепительную маленькую ванную. Вид собственной опухшей бледной физиономии в зеркале заставил вздрогнуть. За ночь щеки поросли седой щетиной, остатки волос торчали короткими пегими перышками. Глаза отекали и покраснели. Минут пятнадцать, стоя в стерильной душевой кабинке, он поливался то кипятком, то ледяной водой, мыл голову миндальным гостиничным шампунем из пакетика, чистил зубы. Побрившись после душа, он почувствовал себя вполне живым, бодрым, уже не так хмуро глядел на собственное отражение.

Спохватившись, что гостиничный завтрак заканчивается через десять минут, Григорьев отправился в ресторан. По дороге его окликнул портъё. Вместо вчерашней девушки за стойкой дежурил добротный пожилой толстяк, тоже сине-розовый. Лысина его напоминала шарик земляничного мороженого.

– Мистер Григорьефф! Вам послание.

Он протянул Андрею Евгеньевичу конверт из матовой серой бумаги с золотым тиснением. Внутри лежал пригласительный билет на литературный вечер, который состоится сегодня в двадцать один час в клубе «Кафка» по адресу Циммер плац, 8. Григорьев заказал его еще из Нью-Йорка, накануне отлета, через Интернет, на адрес франкфуртской гостиницы «Манхэттен».

В зале для завтраков было пусто. Официанты уже убрали еду со шведского стола. Осталось только несколько пригоревших булочек, скрюченные ломтики сухого сыра, немного йогурта на дне алюминиевого бочонка. Стаканчики для сока были размером с водочные рюмки. Кофе эспрессо – за отдельную плату.

«Все ворчишь, ворчишь. Ты просто старый и ввязался не в свое дело. Куда тебе ловить террористов? Не к лицу и не по летам!» – думал Андрей Евгеньевич, ковыряя ложкой густую красно-белую смесь фруктового компота с йогуртом.

– Почему вы не едите? Это вкусно и полезно, – послышался над ним знакомый голос. Он вздрогнул и поднял глаза.

Возле его столика со стаканом сока и тарелкой, на которой лежал пригоревший рогалик, стоял Всеволод Сергеевич Кумарин. Он, как обычно, явился без всякого предупреждения. Андрей Евгеньевич ждал увидеть здесь связника, а не самого шефа.

Генерал ФСБ, глава Управления Глубокого Погружения в последнее время все больше тяготел к театральным эффектам. К старости ему надоело оставаться в тени. Обычное дело для разведчиков и контрразведчиков. Одни свихиваются на секретности и конспирации, страдают

манией преследования, разговаривают шепотом, озираются и косятся, как затравленные зайцы. Другие, наоборот, как садовые павлины, распускают хвосты, повышают голос, позируют перед камерами, жаждут общественного признания, боятся, что так и умрут безымянными героями и никто не узнает, сколько славных дел они совершили на благо родине.

И то и другое одинаково скверно.

Кумарин был в модных мятых штанах цвета какао с молоком, в шелковой рубашке навыпуск цвета горького шоколада и в шоколадных мягчайших мокасинах. За два года он немного располнел, не отрастил пуза – такого с ним в принципе произойти не могло, но весь раздался вширь, стал вальяжней и внушительней. Когда они виделись в последний раз, он был тощим и мрачным. Сейчас сиял лихорадочным оптимизмом, самому себе нравился, улыбался так, словно рядом была дюжина фоторепортеров.

– Ну, что вы молчите и смотрите? Приземлиться можно? Или у вас здесь занято? Между прочим, из-за вас я практически остался без завтрака. Сидел в фойе целый час, ждал, когда вы соизволите спуститься. Проспали, что ли?

– Проспал, – кивнул Григорьев, – садитесь. Завтрак здесь отвратительный. Можно было бы поесть в другом месте.

– Так ведь уплачено, – Кумарин, поставил на стол тарелку и стакан, уселся напротив, – зачем же деньги на ветер швырять?

«Он сошел с ума, – поздравил себя Григорьев, – он поселился в этой же гостинице! Он может все сорвать к чертовой матери!»

## Глава четвертая

– Сейчас пойду и застрелю их, – сказал майор Арсеньев и не услышал самого себя. За стеной гудела дрель. Стена заметно вибрировала. Противоположная стена тоже вибрировала, там что-то прибывали, колотили молотками.

Полгода назад майор милиции Арсеньев Александр Юрьевич решил наконец свои жилищные проблемы, разъехался с бывшей женой Мариной и поселился в собственной однокомнатной квартире. Тридцать пять квадратных метров в муниципальной новостройке в Лианозово, на тихой зеленой улочке с выразительным названием Зональная. Пятнадцатый этаж, балкон, чудесный панорамный вид на Москву, комната шестнадцать квадратов, кухня восемь, отдельный санузел, два встроенных шкафа. Саня Арсеньев долго не мог поверить такому счастью. Изначально он рассчитывал, что после разъезда с женой, продажи их двухкомнатной квартиры на Соколе его части денег хватит только на комнату в коммуналке.

Он оказался первым жильцом в подъезде. Остальные владельцы въезжать не спешили. Лифты не работали, не было телефонов, телевизионной антенны. Но свет горел, батареи грели, из кранов текла вода, холодная и горячая. Арсеньеву этого было вполне достаточно. Он въехал в феврале. Остальные жильцы пока только делали ремонты, никого не устраивала отделка и планировка. Ломали и возводили стены, меняли плитку, сдирали ламинат и стелили паркет. Вокруг Арсеньева все гудело, выло, стучало и вибривало.

Сначала Арсеньев утешался тем, что скоро это закончится. Потом понял, что нет, не скоро, и, поднимаясь по темной, неотделанной лестнице пешком на свой пятнадцатый этаж, спотыкаясь и пачкаясь известкой, убеждал себя, что человек ко всему привыкает. К началу апреля он стал воспринимать тишину, самую обычную тишину, как праздник, а лифт и городской телефон – как огромные незаслуженные подарки.

В середине мая произошло знаменательное событие. На четырнадцатом этаже, прямо под Саниной квартирой, поселилась семья. Маме, Вере Григорьевне, сорок пять, старшему мальчику Грише восемнадцать, младшему, Вите, двенадцать. Теперь Арсеньев не чувствовал себя одиноким космонавтом, которого забросили на далекую планету, населенную неразумными грохочущими механизмами, лебедками, досками, керамзитом и упаковочной тарой. Рядом были живые люди. Арсеньев с ними подружился. Он помогал Вере Григорьевне таскать на четырнадцатый этаж тяжести, с удовольствием угощался ее домашними котлетами и борщами. Шестикласснику Вите помогал решать задачи по математике и физике и радовался, что не забыл школьную программу. Гришу, студента второго курса Медицинского института, снабжал историями из своей милицейской практики. Гриша пытался писать детектив.

Муж Веры Григорьевны, отец мальчиков, погиб три года назад в автомобильной катастрофе. Он был хирургом-кардиологом, талантливым, известным. До его гибели семья ни в чем не нуждалась. Вера Григорьевна всю жизнь проработала в библиотеке Медицинского института. После несчастья какое-то время держались на сбережениях, потом пришлось продать большую квартиру в центре и переехать в эту новостройку на Зональной улице, в такую же однокомнатную квартиру, как у Арсеньева.

Гриша хотел написать детектив, чтобы заработать денег. У него не получалось. Он приносил Арсеньеву каждые три-четыре страницы текста, распечатанные на принтере, и стоял у майора за спиной, затаив дыхание, пока тот читал. Текста было слишком мало, три-четыре страницы всегда оказывались первыми. Гриша сочинял начало, но не знал, что писать дальше. Уничтожал написанное и придумывал другое начало.

К концу июля дышать в Москве стало нечем. Жара за тридцать, тяжелый смог. Работяги в соседних квартирах днем спали, за отбойные молотки брались поздно вечером или ранним утром.

– Сейчас пойду и застрелю их, – повторил Саня, взглянув на часы. Половина шестого. В принципе, можно поспать еще полтора часа, но не дадут, гады. Вон, как разошлись. Со всех сторон дрели, молотки. Саня вылез из постели и прошлепал босиком на балкон. Москва тонула в плотном смоке, ничего не было видно. Такое чувство, что висишь в невесомости, плаваешь, как дохлая муха в сером молоке. Саня взглянул вниз и увидел прямо под собой смутный силуэт. Соседка курила на балконе. Раньше он никогда не видел ее с сигаретой.

– Доброе утро, Вера Григорьевна! – громко произнес Арсеньев.

Она задрала голову и взглянула вверх.

– Здравствуйте, Саша. Хорошо, что вы уже проснулись. Я хотела к вам подняться, но не решалась. Может, вы спуститесь к нам? Мне надо с вами посоветоваться.

Саня быстро принял холодный душ, побрился. Приглашение оказалось весьма кстати. У него кончился кофе, и позавтракать, как всегда, было нечем.

Вера Григорьевна, хоть и была одета и причесана, но выглядела ужасно.

Под глазами черные тени.

Арсеньев еще ни разу не видел ее в таком состоянии. Не смотря на жару, она куталась в старую свалявшуюся шаль. Руки дрожали.

– Проходите, пожалуйста. Витя спит. Уши заткнул ватой и спит. Кофе я уже сварила.

– Я, конечно, сумасшедшая мамаша, – сказала она и достала из холодильника тарелку с нарезанным сыром, – я понимаю, как это глупо, поднимать панику. Но Гриша, кажется, пропал. Его нет трети сутки. Слушайте, может, вам рыбу пожарить?

Вера Григорьевна, всегда спокойная, немного даже вялая, нервно суетилась, бестолково металась по кухне, уронила сначала нож, потом мешок с хлебом.

– Мы собирались вчера ехать на строительный рынок за карнизами, прождали его весь день. Ночью я не спала. Он даже не позвонил.

– У него нет мобильного, – напомнил Саня, – у вас один телефон на всю семью, и потом он, кажется, собирался с друзьями за город.

– Ну да. Почти у всех его друзей есть мобильники. Я дозвонилась одному мальчику, Кириллу Гусеву, он сказал, поездка сорвалась. Они собирались к нему на дачу, но в последний момент выяснилось, что туда приехали какие-то родственники. Они узнали об этом уже в электричке, по дороге. Часть компании вернулась в Москву, часть отправилась дальше, причем неизвестно, куда именно.

Арсеньев хлебнул кофе, откусил бутерброд. Вера Григорьевна перестала суетиться, уселась напротив, но к еде не притронулась, потянулась за сигаретой.

– Вы бы кофе выпили, – сказал Саня, – нельзя курить на голодный желудок. И вообще, вы же не курите.

– Ну да, конечно. Я не курю, – кивнула Вера Григорьевна и щелкнула зажигалкой. – Это Гришкины сигареты. Нашла у него в ящике. Знаете, я пыталась дозвониться девочке, которая поехала вместе с Гришей дальше на электричке. Телефон выключен. Кирилл сказал, дальше поехали четверо. Кроме моего Гриши, эта девочка, Оля Меньшикова, мальчик Сережа Катков и еще одна девочка, не из их компании. Гриша с ней познакомился накануне, в кафе. Кажется, ее зовут Василиса.

– погодите, Вера Григорьевна, а что вы так разнервничались? Четверо ребят отправились за город. Две девочки, два мальчика. Грише восемнадцать лет. Он взрослый парень. Загулял. Бывает. Он же недавно сдал сессию, и хорошо сдал.

– Полтора месяца, – она помотала головой, – даже больше, пятьдесят дней назад кончилась сессия. Все это время он болтался, бездельничал, не знал, куда себя деть.

– Он обустроивал новую квартиру, вещи разбирали, полки вешал. Я живой свидетель. Имеет право отдохнуть.

– Да, конечно. Имеет право. У Сережи Каткова телефона нет, он постоянно теряет. Что это за Василиса, никто не знает. Даже фамилию не спросили.

– Имя редкое, – заметил Арсеньев, – уже хорошо. Дача по какой дороге?

– Савеловское направление, станция «Луговая».

– Значит, вся компания вышла где-то до «Луговой», а Гриша и остальные отправились дальше...

– Как вы считаете, уже пора писать заявление? – Вера Григорьевна была так занята своими размышлениями, что почти не слышала вопросов.

– Вы говорили с родителями Сережи и Оли?

– Пока нет. Я с ними не знакома, у меня из всех телефонов есть только мобильный Кирилла, они с Гришей дружат давно, еще с первого класса. А остальные дети – я их никого не знаю. Кирилл рассказал мне про Сережу, Олю, про эту новую девочку Василису.

На пороге кухни показалась тощая фигура Вити в широких пижамных штанах. Он тер глаза кулаками.

– Мам! – крикнул он во всю глотку. – Ну что, пришел Гришка?

Вера Григорьевна отрицательно помотала головой и показала жестом, чтобы он вытащил из ушей затычки.

– И не звонил?

– Нет. Иди, умойся.

– Здравсти, дядь Саш. Вы ей объясните, она зря паникует. Гришка взрослый, у него своя жизнь. Тем более, там появилась какая-то Василиса, премудрая, или прекрасная, или вообще лягушонка в коробчонке. – Витя зевнул и хихикнул. – Мама не понимает, все думает, он младенец. А я так вообще эмбрион.

– Иди, умывайся, я сказала!

Витя поплелся в ванную.

– Может, он прав? – спросил Саня, допивая свой кофе. – Ну в самом деле, поехали ребята за город, в Москве сейчас дышать нечем, а там река или озеро.

– Гриша со мной никогда так не поступал, он всегда находил возможность позвонить. Всегда. И потом, знаете, я чувствую. Я что-то очень плохое чувствую. Спать не могу, какая-то чернота в душе. Никогда раньше такого не бывало.

– Ну, Вера Григорьевна, я тоже не сплю. Здесь, на нашей стройке, можно запросто свихнуться. Я попытаюсь что-нибудь узнать и сразу вам позвоню. – Саня поднялся. – Спасибо за кофе. Вам бы сейчас принять валерьяночки и отоспаться, но ведь не дадут.

– Да, Саша, да. – Она покорно, тупо кивнула, проводила его до двери. Когда он уже прошел лестничный пролет, она громко окликнула его:

– Александр Юрьевич! Подождите! По радио в новостях передавали, там, знаете, леса горят, какой-то бывший пионерский лагерь у поселка Первушино, и лес вокруг. Это ведь именно Савеловское направление...

Саня сбежал вниз, остановился напротив соседки и четко, почти по слогам, произнес:

– Ну и что? При чем здесь Гриша?

– Совершенно ни при чем! – закричал из-за ее спины Витя. Голос у него был звонкий и сердитый. – Я ей говорю, а она не слушает!

\* \* \*

Василиса шла по тлеющему лесу, неизвестно куда, умирая от боли, жажды, задыхаясь от дыма. Она боялась наткнуться на бандитов, надеялась встретить Гришу, Олю, Сережу, прислушивалась к каждому шороху, слышала отдаленный гул шоссе, но из-за того, что голова кружилась, не могла определить, в какую сторону идти, чтобы до него добраться. Она утешалась

тем, что это все-таки подмосковный лес, а не тайга, и рано или поздно ей удастся куда-нибудь выйти. Возможно, она просто ходила по кругу. Она выросла в Москве, к тому же с детства страдала болезнью многих горожан – пространственным идиотизмом, могла заблудиться в трех соснах. А тут еще обожженные, исколотые босые ноги, шок, страх, слабость.

Несколько раз она подходила к реке. Была ли это та самая река, возле которой стоял лагерь, или какая-то другая, Василиса не знала. Она умывалась, пригоршнями пила воду. Так хотелось пить, что не имело значения, какая в речной воде может плавать зараза. Однажды, когда стало совсем худо, она заставила себя искупаться, но чуть не захлебнулась.

Местами лес становился таким густым, что идти было почти невозможно. Василису качало, она натыкалась на ветки, билась о стволы, спотыкалась о корни, торчавшие из земли, как стариковские варикозные вены. Когда впереди показался просвет, она обрадовалась, легко преодолела участок бурелома и увидела гладкую, приветливую поляну.

Под ногой было что-то восхитительно мягкое, теплое, ласковое. Василиса сделала несколько шагов. Боль от ожогов стала затихать, словно земля тут была целебной. Василиса остановилась, чтобы немного насладиться этим новым чувством – когда не так жжет. Но вдруг заметила, что ноги ее увязли по щиколотки, и там, внизу, никакой опоры. Жижа. Болото.

«Спокойно. Только не дергайся!» – приказала она себе, чувствуя, как запрыгало сердце, как перехватило дыхание.

Оглянувшись, она увидела, что деревья слишком далеко, и до веток уже не дотянуться. Единственное, за что можно ухватиться, – пучок осоки. Болотная жижа подходила к коленям.

Теряя равновесие, она медленно передвинулась, протянула руку, ухватилась за острую, как кинжал, траву, сжала кулак. Боль была неправдоподобная, запредельная.

«Тихо, тихо, тебе не больно, еще немножко, и все».

Она вцепилась в осоку обеими руками и так, передвигаясь по вязкой жиже, добралась до твердой земли, упала, прижалась к ней, тяжело дыша. Она только что чуть не погибла в этом приветливом болоте, в котором так блаженно отдыхали от боли обожженные ноги. Отдышавшись, она медленно поднялась, сначала на четвереньки, потом на колени. Наконец встала на ноги и пошла, сама не зная куда, главное, подальше от болота.

Скоро чаша расступилась, кончился бурелом. На небольшой поляне росла заячья капуста. Пальцы распухли, почти не слушались, но удалось нарвать немного. Она жевала кислые мелкие листочки. От них меньше хотелось пить. Потом попались заросли орешника. Орехов было много. Разгрызая мягкую белую кожуру, она впервые почувствовала настоящий голод. Заболел живот. Она поняла, что если сейчас наестся орехов, будет только хуже. Оставалось идти, идти, пока хватит сил.

Лес вокруг был мертвым. Птицы молчали, даже на рассвете. Из-за тяжелого дымного марева было трудно отличить рассвет от сумерек, день от ночи. Сколько это продолжалось, она не знала.

Иногда она проваливалась в сон, глубокий, как обморок. Перед ней мелькали бессвязные, бессмысленные картинки.

Университетская аудитория, вступительные экзамены, сочинение, масляные стены цвета хаки, облупленная лепнина на потолке. Голубая пластиковая столешница, на которой крупно нацарапано матерное слово, проштампованные листки, исписанные дурацкими фразами. «Тема природы в лирике Лермонтова». Стул с железными ножками и занозистым фанерным сидением. Спущенная петля на колготках. Добротная, гладкая, словно отлитая из розовой резины, физиономия Германа, его быстрый, чмокающий шепот. Кружевная крона тополя, теплый свет чужих окон сквозь листья, музыкальная заставка телерекламы. Ласковая тишина летней ночи. Несколько мгновений тишины, и вдруг оглушительный рев. Пульсация во всем теле, такая мощная и быстрая, что трудно дышать. Ритм тяжелого рока не совпадает с естественным ритмом дыхания, и, возможно, именно недостаток кислорода вызывает бурную реакцию толпы.

Девочки стонут, теряют сознание. Мальчики режут и дергаются, как под током. На сцене скачет маленькая безобразная фигурка, мотает жидкими сальными патлами, выкрикивая нечто бессвязное в ритме тяжелых музыкальных волн. Толпа подростков вторит солисту, тысячи голосов сливаются в единое эхо. Тысячи рук тянутся вверх, качаются, словно белая трава под ветром. Толпа хрюкает и визжит, как гигантская свиноматка, покрытая долгожданным боровом.

Не важно, что он поет, какая чушь вылетает из его мокрого рта, они повторяют каждый звук. Главное – синхронно раствориться, исчезнуть, не быть собой, не быть вообще, вернуться к изначальному одноклеточному кайфу, вне времени и пространства. «А-а-х-х... ха...»

Василисе приснился рок-концерт, на который она попала с компанией одноклассников прошлой весной. Группа была жутко популярная, солист – суперзвезда. Василисе, в принципе, такая музыка не нравилась, но один раз стоило послушать живьем, чтобы понять, отчего у многих ее друзей и знакомых едет крыша.

Впечатление оказалось незабываемым. Сначала она просто стояла в толпе и наблюдала, как искажаются лица, как рыдают и стонут фаны.

К третьей песне она заметила, что сама подергивается, покачивается, под мышками и в глазах мокро, во рту, наоборот, сухо. Когда солист запел четвертую песню, Василиса обожала его и готова была вместе со всеми ринуться к сцене, пробиться сквозь милицейский кордон, содрать с себя одежду, кожу, вывернуться наизнанку, лишь бы прикоснуться к божеству. Она растворилась в толпе, как в крепкой кислоте, перестала существовать и только потом, в пустом вагоне метро, глядя на свое смутное отражение в черном стекле, держась за влажный теплый поручень, поняла, что за несколько часов концерта пережила нечто вроде клинической смерти. Еще немного – и у нее стали бы разрушаться клетки мозга. Ей было мерзко, стыдно.

Концерт превратился в дежурный ночной кошмар. Сейчас ей было плохо, и он опять приснился.

Толпа редела и похрюкивала. «Ах-ха... ха-ай!» Огни блуждали в темноте. Сотни, тысячи огней. Они двигались, выстраивались в гигантскую фигуру, похожую на крест, но почему-то все его четыре конца надломлены.

Не крест. Совсем наоборот. Свастика. Пылающая свастика размером в площадь. Толпа редела «Хайль!». Вдалеке, на высокой трибуне, дергалась маленькая фигурка. Толпа изнывала в едином экстазе.

Площадь, заполненная уже не пестрыми потными подростками с войлочными косичками «дредрами», с серьгами в носах и бровях, а взрослыми аккуратными людьми в одинаковой темной униформе. Смешной каркающий уродец на трибуне, подвижная кукла с черным квадратиком усов под носом. Он вопит, как охрипшая кладбищенская ворона, он выбрасывает руку так энергично, что кажется, она сейчас оторвется от туловища, полетит в небо со свистом китайской петарды, врежется в маленькую хрупкую луну и расколется, как фарфоровое блюдо. Уроду вторит могучий гул толпы, похожий на раскат грома. «Хайль!»

Во сне Василиса решила, что умерла и попала в какое-то другое измерение. Ну что же, всякое бывает. Мало ли, куда человек забредает в своих снах? В другом измерении пахло одеколоном: смесь свежего огурца и хвои. Краски казались незнакомыми. Цветовая гамма вроде бы та же, но состав другой. Как если бы ее родной, привычный мир был написан акварелью, а этот, чужой, маслом. Все кругом лоснилось и блестело. Теней, полутонов не было вовсе. Много черного и красного. У всех чистая обувь.

– Отто! Отто Штраус!

Отчетливый звук чужого имени на чужом языке заставил Василису обернуться, словно это обращались к ней лично. В дрожащих отсветах факельных огней она увидела круглое бледное лицо. Зеркальный блеск пенсне, усики. Нижняя челюсть скошена к шее, как будто лицо не доделали, а потом, спохватившись, наспех прилепили под губу маленький круглый подбородок. Виски и затылок выбриты, темные волосы напоминают плотную круглую шапочку. Василиса не

знала этого человека, но почему-то обернулась, когда он произнес: «Отто Штраус». Ответила ему вместе с кем-то, чужим голосом, на чужом языке: «Здравствуй, Гейни!» И почувствовала влагу его холодной, слабой ладони при рукопожатии.

Гейни, старый приятель, бывший одноклассник, в новенькой красивой форме. Френч сидит изумительно, плечи кажутся шире, спина прямой. Надо записать имя и адрес портного. А еще говорят, что не осталось в Берлине приличных портных.

Василиса узнала место действия и без всякой подсказки определила время: тридцать третий год. Язык, разумеется, немецкий. Голос мужской, глуховатый, низкий.

Она так удивилась, что пришла в себя, открыла глаза, увидела мутное небо, темные верхушки елок, бледный маленький диск, то ли луны, то ли солнца.

Что это было? Сон? Галлюцинация?

Пожар давно остался позади, но воздух пропитан гарью. Василиса поклялась себе, что больше отдыхать не будет, пока не отыщет что-нибудь, похожее на человеческое жилье, или не выйдет к дороге.

Она шла дальше, потеряв счет времени, иногда поедая какие-то ягоды и листья, отдыхая все чаще и дольше.

«Еще сутки, и я начну умирать», – подумала она со странным спокойствием, словно не о самой себе, а о ком-то другом, далеком и безразличном. Тут же вспыхнула следующая мысль, совсем уж ледяная:

«А что, если это уже произошло? Мне только кажется, будто я иду по лесу, на самом деле меня нет. Я осталась лежать на берегу той узкой теплой речки или утонула в болоте».

В ушах нарастал гул, такой отчетливый, что казалось, над головой кружит вертолет. Но небо было пустым и тусклым. Ни души рядом, никто не мог подтвердить ей, что она жива. А самой себе она почти не верила.

Лес то редел, то густел. Вдали, на пригорке, показался купол с крестом. Сначала Василиса решала, что это мираж. Отдохнула немного, посидела на опушке. Купол не исчезал. У нее открылось второе дыхание. Где церковь, там и деревня, только бы хватило сил дойти. Она старалась не смотреть на свои распухшие черные ноги, на руки, которые покрылись глубокими ссадинами и крупными тугими волдырями.

Опять стало темно. Василиса потеряла из виду купол с крестом и продолжала идти наугад, в полусне. Лес кончился, она оказалась в открытом поле, ступила на колючую свежескошенную траву. Ноги прожгло такой адской болью, что перехватило дыхание. Но боль придала сил. В туманной голове засветилась простая утешительная мысль: если недавно косили траву, значит, какая-нибудь деревня должна быть совсем близко.

Из сумрака проступила светлая стена часовни, потом темные силуэты крестов, пирамидок со звездами. Василиса добрела до часовни и села на землю, прислонившись к стене.

## Глава пятая

– Ладно вам, расслабьтесь, – снисходительно улыбнулся Кумарин, – у нас с вами вполне легальный контакт. Кстати, первый за все эти годы. Вы сегодня же сообщите о нашей встрече, кому сочтете нужным.

Для руководства ЦРУ контакт Григорьева с бывшим шефом мог действительно считаться легальным. После 11 сентября между российскими и американскими силовыми структурами было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Генерал Кумарин числился почетным членом Временного Объединенного совета ветеранов спецслужб. Полковник Григорьев числился там же консультантом.

– Мы с вами теперь союзники. Жаль, что мы сейчас во Франкфурте, а не в Дрездене. А то у нас получилась бы встреча на Эльбе. Это было бы красиво, вполне символично, – продолжал балагурить Всеволод Сергеевич, размазывая масло по рогалику.

– М-м, – грустно промычал Григорьев, – остроумное сравнение. Но в той войне союзники встретились на Эльбе, когда самое неприятное было уже позади. А у нас все только начинается.

– Правильно, – кивнул Кумарин, – должно же время хоть чему-то учить. Слушайте, а почему вы мне совсем не рады? Неужели не соскучились? Мы не виделись два года.

– Я рад, – вяло соврал Григорьев и поискал глазами кого-нибудь, чтобы заказать чашку приличного кофе.

– Злитесь из-за Маши? Напрасно. Я ведь даже не приблизился к ней тогда, два года назад, в Москве. Я просто отправил ей бутылку хорошего вина. Она сидела в ресторане с милым молодым человеком, майором милиции. Я не стал им мешать. Я отлично помню ваши тихие родительские истерики. – Кумарин скорчил глупую рожу и зашептал, склонившись к Андрею Евгеньевичу: – «Оставьте мою дочь в покое! Не трогайте Машку!».

– Я и сейчас могу это повторить.

– Не надо, – Кумарин сощурился, как кот, и покрутил головой, – это уже не смешно, и даже обидно. Я что, совратитель малолетних? Маньяк сумасшедший?

– Есть немного.

– Ну, спасибо, – Всеволод Сергеевич фальшиво рассмеялся.

За те два года, которые они не виделись, Кумарин изменился. В нем появилось нервное шутовство. Он не мог сказать ни слова в простоте, все, что слетало с его уст, должно было сверкать остроумием и запоминаться слушателями, как афоризм.

В течение последних двух лет Григорьев, сидя у себя Бруклине, изучая российские средства массовой информации, все чаще встречал физиономию своего шефа на телеэкране и на страницах глянцевого журналов. Умнейший, хитрейший Кумарин, глава УГП, серый кардинал, человек, предпочитавший всегда оставаться в тени, теперь с удовольствием мелькал на экране телевизора в разных политических ток-шоу, охотно давал интервью, позволял снимать себя на премьерах и презентациях. Это было нехорошо, опасно. Григорьев видел, что делает с людьми эпидемия пиар, как деградируют самые сильные и талантливые. Режиссеры перестают снимать кино, писатели не пишут книг, политики и чиновники, наоборот, пишут книги, умильно излагая подробности своих поучительных биографий. А потом устраивают шикарные презентации этих книг и самим себе платят щедрые гонорары. И все, словно по чьему-то издевательскому приказу, становятся тусовщиками, или, по-русски, толпыгами. Разодетые, важные, толкутся в телестудиях, на всяких презентациях, церемониях, галдят, как куры в курятнике, самозабвенно грубеют и глупеют на глазах у всей страны.

– Я видел вас по телевизору, – внезапно произнес Григорьев, отчасти чтобы сменить тему, отчасти потому, что это действительно мучило его. – Вы решили стать звездой экрана? Вы раскручиваетесь, что ли? Сейчас в России все раскручиваются.

Кумарин засмеялся, на этот раз вполне искренне.

– Это я так легендируюсь и внедряюсь, – прошептал он и подмигнул. – А вы решили, что я впадаю в маразм? Не бойтесь, я еще в своем уме. Просто меня мучает одна проблема... Ладно, об этом после. Слушайте, вы что, правда, считаете, что это я устроил веселые каникулы нашему дорогому Билли?

Наконец принесли долгожданный кофе. Кумарин продолжал улыбаться, но глаза его стали колючими, и слегка дрожал краешек рта. Он напряженно ждал ответа на вопрос. Пожалуй, слишком напряженно.

– Нет, – покачал головой Григорьев, – я так не думаю. Макмерфи тоже так не думает.

– Правда? – Кумарин облегченно вздохнул, и впервые за все время разговора расслабился, – Что случилось с Билли?

– А вы разве не знаете? – удивился Григорьев.

– Я знаю, что ваш официальный шеф, глава русского сектора ЦРУ Вильям Макмерфи временно отстранен от должности и находился в долгом отпуске, официально – по состоянию здоровья. На самом деле он, бедняжка, томится под домашним арестом. Что, засветились его старые афганские связи?

– Да, – кивнул Григорьев.

– Расскажите подробней. Собственно, ради того, чтобы вас послушать, я и прилетел сюда. Григорьев рассказал.

Специальная сенатская комиссия, созданная сразу после 11 сентября, вела служебное расследование, касавшееся прошлых и нынешних связей высших чинов ЦРУ с исламскими террористами.

В поле зрения комиссии Макмерфи попал вместе с другими ветеранами разведки, которые имели несчастье в начале восьмидесятых служить инструкторами в подразделениях ЦРУ в Афганистане, летать в приграничный пакистанский город Пешавар, лично общаться с Усамой бен Ладеном и с его ближайшим окружением. И, словно по заказу, стали приходить по почте конверты с фотографиями. На них высшие офицеры ЦРУ были запечатлены в компании арабского юноши с умным породистым лицом.

В 1979 году сын аравийского шейха, выпускник университета из Саудовской Аравии по имени Усама прилетел в Пешавар формировать и вооружать отряды правоверных мусульман для борьбы с «коммунистическими шакалами».

Иногда попадались фотографии и более позднего периода, середины и конца девяностых, уже не с самим бен Ладеном, а с другими известными террористами из его окружения. К снимкам не прилагалось никаких комментариев кроме дат, фамилий, и пометки: «совершенно секретно, для внутреннего пользования». Конверты приходили членам комиссии, сенаторам, сотрудникам ФБР и ЦРУ, их получали сами офицеры, запечатленные на снимках. И все – на домашние адреса.

Судя по почтовым штампам, конверты были отправлены из разных городов Европы, больших и маленьких, в том числе из Рима, Парижа, Ниццы, Копенгагена, Брюсселя, Вены, Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне. Адреса были напечатаны на разных принтерах, лазерных и струйных, разными компьютерными шрифтами.

За три месяца, с ноября 2001-го по февраль 2002-го, пришло всего пятьдесят четыре конверта. В марте поток прекратился. В средствах массовой информации ни один из присланных снимков не всплыл. Заинтересованные лица ждали новых сюрпризов от неизвестного отправителя (или отправителей). Предполагалось, что за этим последует еще что-то – шантаж, например. Но не последовало ничего.

– Как я понимаю, до сих пор неизвестно, кто отправлял конверты? – усмехнулся Кумарин.

– Нет.

– И зачем это делалось, тоже пока неизвестно?

– Ну, если бы могли выяснить – зачем, скоро узнали бы – кто, – Григорьев пожал плечами, – конечно, старые афганские контакты никому особенно не навредили. А вот новые комиссия проверяла весьма тщательно. По каждому контакту девяностых до сих пор идут отдельные расследования. Всплывает кое-что любопытное, но до отправителя конвертов пока добраться невозможно. Знаете, какая там версия оказалась главной?

– Догадываюсь, – хмыкнул Кумарин, – небось, решили, что это кто-то из своих, из ветеранов?

– Совершенно верно. Кто-то, оскорбленный грубыми методами работы комиссии, решил показать, что у всех рыльце в пушку. Правда, профессионал из числа «своих», даже старый и обиженный, не стал бы добавлять к афганским снимкам современные. Прорабатывается еще одна версия. Журналистов, фоторепортеров, которые имели возможность снимать американцев в Афганистане, совсем немного. Система оформления спецдопуска была достаточно сложной. Их имена известны, всех их сейчас проверяют.

– И вам, конечно, достался ваш старинный приятель, немецкий журналист, авантюрист и пройдоха, Генрих Рейч, – вздохнул Кумарин, – да, пожалуй, лучше вас с ним никто не сможет побеседовать. Ну, а что же все-таки не так с Билли?

– Макмерфи в этой истории повезло меньше других. Из всех ветеранов он единственный продолжает занимать высокий пост, остальные уже в отставке. Но главное, его набор картинок оказался особенно неприятным. Вот, у меня с собой несколько штук.

Григорьев достал из кармана маленький конверт. Там было всего четыре фотографии.

На старых, черно-белых, молодой крепкий Билли в военной форме, в компании молодого Усамы и еще нескольких боевиков. Снимки датировались январем 1980-го.

На цветных фотографиях, датированных сентябрем 1998-го, – глава русского сектора ЦРУ, уже сегодняшней, пожилой, почти лысый Билли, в джинсах и клетчатой ковбойке, на живописной лужайке, возле шашлычного мангала, в компании двух мужчин восточной наружности. Один лет сорока, с аккуратной бородкой и ясной улыбкой. Известный чеченский полковой командир Рахманов, самый цивилизованный и образованный из руководителей боевиков. Второй пожилой, без бороды, но с пышными черными усами. Доктор Абу-Бакр, египтянин, ближайший сподвижник Усамы, один из первых подозреваемых в причастности к теракту 11 сентября.

– Проблема в том, – объяснил Григорьев, пряча фотографии, – что о контакте с чеченцем Рахмановым и египтянином Абу-Бакром в сентябре девяносто восьмого Билли не счел нужным никому сообщить. Контакт не был зафиксирован в документах и отчетах.

– И поэтому его отправили в отпуск? – грустно улыбнулся Кумарин. – Да, действительно, неприятно. Ну, а как вы сами считаете, ваш старый приятель Генрих Рейч имеет отношение к этому дерьму? Прошло столько лет, он мог продать старые снимки кому угодно. Логичней предположить, что все это придумал и проделал либо кто-то свой, либо кто-то из покровителей террористов. Ну, захотелось им покуражиться после одиннадцатого сентября, внести дополнительную смуту в ряды противника.

– Да, эти две версии мне тоже кажутся вполне правдоподобными, – равнодушно кивнул Григорьев.

– И вы прилетели сюда, чтобы встретиться с Генрихом Рейчем, – Кумарин нахмурился, сыграл пальцами на скатерти какую-то быструю беззвучную мелодию и спросил: – Вы уверены, что Рейч полностью отошел от дел, порвал свои старые связи, в том числе и с «Аль-Каидой»?

Прежде, чем ответить, Григорьев нарочно долго разглядывал счет, возился с мелочью, отсчитывал чаевые. Подошла официантка. Андрей Евгеньевич похвалил кофе, пожаловался на слишком раннее завершение гостиничных завтраков, обсудил сегодняшнюю жару и магнитные бури. Неделю назад Кумарин, узнав о предстоящей встрече Григорьева с Генрихом Рейчем,

через своего агента заверил его, что намерен взять ситуацию под контроль, подстраховать Григорьева, выяснить сегодняшний статус Рейча, круг его общения и степень опасности.

Когда девушка удалилась, он грустно взглянул на Кумарина и покачал головой.

– Я не уверен. Я надеюсь.

*«Я надеялся на вас, вы обещали дать мне дополнительную информацию и при необходимости обеспечить прикрытие. Пока вы только язвите и задаете идиотские вопросы».*

– Надежды юношей питают, – улыбнулся Кумарин, – я, в свою очередь, надеюсь, что вы не только выясните все, что вас интересует, но и вернетесь к себе в Бруклин целым и невредимым.

– Спасибо, – Григорьев вежливо кивнул и улыбнулся, – я постараюсь вернуться целым и невредимым. Хотя все не так страшно, как вам кажется, все очень даже мило. Вечером я отправляюсь в клуб «Кафка», слушать главы из романа молодого талантливого писателя Рихарда Мольтке «Фальшивый заяц».

– Что за бред? Какой заяц? – нахмурился Кумарин.

– А еще интеллигентный человек, – вздохнул Григорьев, – ничего-то вы не знаете, книжек не читаете. Талантливый молодой писатель Рихард Мольтке, автор романа «Фальшивый заяц» – последняя привязанность господина Рейча. Он выпускает и рекламирует книги мальчика за свой счет. Пока мальчик успел написать только одну, про зайца. Но все еще впереди. Господин Рейч заботливо растит молодое дарование. Он одевает юного гения у Версачи, возит на Канары.

Григорьев говорил, а сам думал: «Ты, Сева, хороший человек. Ты приехал сюда потому, что хочешь получить через меня какую-то очень важную информацию от Рейча. Собственных подходов к нему у тебя, вероятно, нет. Ты, как всегда, играешь в свои игры, используешь других людей в качестве пешек и теннисных мячиков, не считая нужным ничего объяснять. По-другому ты просто не умеешь и вряд ли уже научишься».

Кумарин долго, напряженно молчал, наконец поднялся и, глядя на Григорьева сверху вниз, тихо произнес:

– Ладно. Мне пора. Передайте господину Рейчу привет от генерала Георгия Колпакова. От генерала Жоры. Вы помните, кто это?

Гулять под палящим солнцем было не очень приятно, и все-таки Григорьев отправился бродить по Франкфурту. Он почти забыл, что такое старая Европа, ему так хотелось именно в Европу, куда-нибудь в Прагу или в Париж, но, словно в насмешку, его занесло в самый американский из всех европейских городов. Он шел наугад, без карты, и все никак не мог миновать район небоскребов. Длинная улица Кайзерштрассе, названная «злачной» в каком-то случайном путеводителе, который он листал в самолете, оказалась вполне благопристойной. Офисы, дорогие магазины, небольшой сквер, ремонтные леса. Вероятно, следовало взять такси и отправиться в красивый туристический район Захсенхаузен. А еще лучше, в знаменитый Штеделевский художественный институт. Там отличная коллекция европейской живописи, есть Дюрер и Брейгель младший. Но по понедельникам музеи закрыты.

Григорьев сам не заметил, как забрел на старинную площадь Ромерплац. Перед ним возвышался готический собор Дом. С XVI по XIX век здесь короновались немецкие императоры. Григорьев вспомнил что-то про Золотую буллу и Карла IV. Солнце плавило причудливые контуры высокой резной башни. Даже сквозь темные очки смотреть вверх было невозможно. Андрей Евгеньевич постоял, задрал голову, подумал, не войти ли внутрь, но увидел сразу несколько туристических групп, которые вползали в темное прохладное чрево собора под разноязыкие команды экскурсоводов, и нырнул в ближайший кабачок.

Сидя за маленьким полированным бочонком, заменявшим стол, разглядывая репродукции немецких романтиков, развешенные по стенам, потягивая кисло-сладкое яблочное вино, Андрей Евгеньевич пытался понять, чего хочет от него Кумарин. В своем ли он уме, старый шеф, глава УГП, и если нет, что теперь делать?

Кумарин с самой серьезной миной попросил передать привет Генриху Рейчу от генерала Колпакова.

Георгий Федорович Колпаков, которого все называли генерал Жора, нажил огромное состояние на продаже оружия, вывозимого из Прибалтики и бывшей ГДР в начале девяностых. Никто не знал, куда он дел деньги. Все попытки привлечь его к ответственности, вытянуть хотя бы часть наворованных миллионов, оказывались тщетны. Не помогали ни хитрость, ни угрозы, ни шантаж. Люди, которые пытались найти ключ к тайне банковских вкладов генерала Колпакова, погибали в результате несчастных случаев, или пропадали бесследно.

Жора был генерал-жулик, генерал-мафиози. Он весил килограмм двести. От его хохота лопались барабанные перепонки. На Масленицу он сжирал не меньше сотни блинов с черной икрой. Четыре года назад сто первый блин оказался для него последним. Он поперхнулся и умер.

Генерала Колпакова не было. Он лежал под гранитной плитой на Ваганьковском кладбище. А генерал Кумарин просил передать от него привет господину Рейчу. И, как всегда, не объяснил, зачем.

\* \* \*

Заявления от родителей двух пропавших подростков, Оли Меньшиковой и Сережи Каткова, уже поступили. В районных отделениях к ним отнеслись прохладно, как обычно относятся к «потеряшкам», особенно если это подростки. Майор Арсеньев перегнал все имевшиеся данные в свой компьютер и позвонил Кириллу Гусеву, тому мальчику, который собирался взять компанию друзей к себе на дачу. Кирилл вполне толково рассказал всю историю, от начала до конца. Арсеньев взглянул на карту и понял, куда именно решил отправиться его сосед Гриша Королев вместе с Олей, Сережей и Василисой. О ней, кстати, не имелось пока никакой информации, и никаких заявлений о пропаже девочки семнадцати лет по имени Василиса ни в одно из московских отделений не поступало.

Кирилл не знал ее фамилии, только возраст. Он описал ее довольно подробно и при необходимости мог бы составить словесный портрет.

Территория заброшенного пионерлагеря полыхала открытым пламенем. Лесные пожары охватили огромную часть Подмосковья. Отправить спасателей в тот район было практически невозможно. Из-за сильного задымления вертолеты в воздух не поднимались, спасателей, как всегда, не хватало. К тому же не было достоверно известно, что четверо подростков находятся именно там. Они могли уйти как угодно далеко. Они могли вообще передумать и отправиться совсем в другое место, вернуться в Москву и застрять у кого-то в гостях, в пустой квартире, где нет родителей.

Гриша любил сочинять страшные истории. Вот, выдумал очередную сказку про Бермудский треугольник на территории заброшенного лагеря. Наверное, хотел поразить воображение девочки Василисы. По словам Кирилла, вся эта авантюра с поездкой была посвящена именно ей.

А не могла ли прийти ему в голову еще какая-нибудь глупость? Например, устроить в честь Василисы салют, запустить петарды, разжечь костер, чтобы через него попрыгать, а потом испечь картошку? Почему там вдруг так сильно вспыхнуло? Понятно, что горят торфяные болота, свалки, леса. Но сам по себе лес воспламеняется не так уж часто. Причиной пожара может стать тлеющий костер или умышленный поджог. За последний месяц было заведено несколько уголовных дел, связанных именно с поджогами, которые устраивали, чтобы покрыть воровство и незаконную продажу подмосковного леса.

У Арсеньева болела голова. От запаха гари, от бессонницы он плохо соображал. Меньше всего ему хотелось признаваться самому себе, что начать поиски Гриши Королева, Оли Мень-

шиковой, Сережи Каткова и Василисы сейчас практически невозможно. Единственное, что остается, – разослать ориентировки во все районные отделения Москвы и Московской области и ждать. Главное, ничем не выдать своего беспокойства вечером, когда придется встретиться с Верой Григорьевной.

Тихая мелодия мобильного заставила его вздрогнуть. Оказывается, он почти задремал на стуле.

– Спишь? – услышал он в трубке сердитый женский голос.

Звонила Зюзя, то есть старший следователь по особо важным делам Лиховцева Зинаида Ивановна.

– Нет. Уже проснулся, – ответил Арсеньев и энергично покрутил плечами и головой, чтобы размять затекшие мышцы.

– Давай быстренько ко мне, – скомандовала Зюзя и бросила трубку.

Полтора года назад Зинаида Ивановна отпраздновала свое шестидесятилетие, и с тех пор у нее появилась дурацкая манера хронически уходить на пенсию. Из-за этого она постоянно спешила, хотела поскорей скинуть все дела, отправиться на заслуженный отдых, водить восьмилетнего внука на музыку и вязать ему варежки.

Саня был знаком с ней с юности. Когда он учился в университете на юрфаке, Зинаида Ивановна вела спецкурс «Тактика следственных действий». Там к ней прилепилась кличка Зюзя.

Мало кто из оперативников любил работать с Зюзей. Ее считали жесткой и категоричной, говорили, что она не терпит возражений, не умеет слушать, трепещет перед начальством и за свою кристальную репутацию любому глотку перегрызет. Впрочем, не важно, что о ней говорили. Арсеньеву работалось с Зюзей легко. Глотку она еще никому не перегрызла, боялась не начальства, как такого, а его глупости и возможных подстав, то есть тех известных ситуаций, когда виноватым оказывается стрелочник. Что касается неумения слушать, да, ее раздражала болтовня, треп, переливание из пустого в порожнее. Когда с ней говорили по делу, четко и доказательно, она слушала.

Однажды Зюзя в приступе философской откровенности объяснила Арсеньеву причину своей постоянной спешки. С возрастом человек болезненно чувствует время. Даже поспать лишний час жалко. Понятно, что этих часов осталось значительно меньше, чем прошло, и глупо тратить драгоценный остаток на ерунду.

В прокуратуре, в кабинете Зюзи, майора Арсеньева ждала приятная новость. С ним пожелал встретиться молодой рецидивист Булька, проходивший единственным подозреваемым по делу, которым Арсеньев занимался уже третий месяц.

В середине мая был убит писатель Драконов Лев Абрамович. Убийство самое банальное – с целью ограбления. Писатель возвращался домой из гостей, шел пешком от метро. В начале первого ночи зашел в свой подъезд, получил смертельный удар по голове тупым предметом. Похищен портфель, часы «Сейка», мобильный телефон, бумажник, в котором лежало не более двух тысяч рублей. По свидетельству родственников и друзей, ничего ценного для грабителей в портфеле находиться не могло.

Драконов не имел ни настоящей славы, ни настоящих денег. Он был литературным середнячком, состоял в Союзе писателей, в советское время выпустил пару-тройку сборников повестей и рассказов, подрабатывал то переводами, то статьями в толстых журналах, правда, умел обрастать знакомствами и связями, создавать вокруг себя флер салонной популярности, часто мелькал на ток-шоу и всяких презентациях. В последние годы стал активно сотрудничать с телевидением, в составе разношерстных бригад писал сценарии для сериалов.

Среди его знакомых попадались весьма любопытные в криминальном смысле личности, например крупный жулик по фамилии Хавченко, бывший руководитель пресс-службы партии «Свобода выбора».

Хавченко хотел запечатлеть себя для истории, издать роман о собственной жизни, и нанял Льва Драконова в качестве литературного обработчика. У жулика были большие планы. В дальнейшем он намеревался заказать по роману сценарий и спонсировать широкоформатный фильм о самом себе. На главную роль он планировал пригласить популярного актера Владимира Приза.

По словам общих знакомых, бандит обещал писателю в качестве гонорара такую сумму, которая обеспечила бы ему безбедную старость. Но Хавченко застрелили прежде, чем была дописана последняя глава романа, и значительно раньше, чем погиб бедняга Драконов. Убийством Хача занималось РУБОП. Там был такой же «глухарь», как и с Драконовым. Но поскольку там речь шла о классическом заказном убийстве, то никто и не ждал скорых положительных результатов. А писателя убили непрофессионально, ради ограбления. Такие преступления положено раскрывать, хотя бы иногда. Тем более что довольно скоро всплыл первый фигурант.

При облаве и обыске в одном из наркопритонов, неподалеку от дома, где жил писатель, нашли шикарную вещь, серебряную авторучку фирмы «Ватерман». На ее толстом корпусе имела мелкая гравировка, надпись по-немецки: «Льву, с любовью, от Генриха, Франкфурт, 2001 год». Содержательница притона тут же вспомнила, что ручкой расплатился с ней за несколько доз синтетического героина известный человек Булька, постоянный посетитель ее печального заведения. То есть дважды судимый за мелкие грабежи Куняев Борис Петрович, 1973 года рождения.

Бульку тут же взяли, его даже не пришлось искать. Он проживал вместе со своей матерью по адресу улица Столярная, дом 15, кв. 23, в двух шагах от дома, где жил и был убит писатель Драконов. При задержании Куняев не оказал ни малейшего сопротивления и сообщил, что авторучку нашел в собственном кармане.

Далее, при обыске в квартире Бульки обнаружили кредитную карточку «Виза», принадлежавшую Драконову. Каким образом эта вещь попала в квартиру, ни мать Бульки, ни он сам объяснить не могли. Любопытно, что на следующий день после убийства с карточки через разные банкоматы была снята почти вся наличность, то есть сто семьдесят долларов. По свидетельству жены Драконова, писатель плохо запоминал цифры. Карточку он держал в специальном пластиковом чехольчике и туда же сунул бумажку, на которой крупно написал пин-код.

Вскоре нашли портфель. Совершенно пустой, с оторванной ручкой, он валялся на дне мусорного контейнера во дворе, в двух кварталах от места преступления. На внутренней стороне крышки были обнаружены отпечатки пальцев Драконова и еще одного человека. Чуть позже экспертиза установила, что они принадлежат Куняеву Борису Петровичу.

Никакого алиби у Бульки не оказалось, но он ушел в глухую несознанку, категорически отрицал свою причастность к убийству и отсиживался в КПЗ. Иногда, впрочем, он выдавал на допросах порции смутной, но многообещающей информации.

– Вот если он сейчас признается, я спокойно оформляю дело для суда и ухожу на пенсию, – заявила Зюзя в машине, по дороге в Бутырку, и принялась подкрашивать губы, – это стало бы хорошим финалом. Ну что ты на меня так смотришь, Шура? – спросила она, поймав в своем маленьком зеркальце взгляд Арсеньева. – Ты хочешь сказать, что, если Булька признается в убийстве Драконова, это будет самооговор?

– Хочу, – кивнул Саня, – хочу, но промолчу.

– И напрасно, – Зюзя растянула свеженакрашенные губы в хитрой улыбке. – Кстати, ты совсем недавно говорил, что в связи с убийством писателя было бы не худо встретиться с одной американкой, которая могла бы кое-что интересное рассказать о Хавченко и о Драконове. Говорил?

– Между этими двумя убийствами нет никакой связи, – мрачно отчеканил Саня.

– Ох, а покраснел, батюшки, как покраснел, – Зюзя притронулась к его подбородку и повернула его лицо к себе. – Между убийствами нет, а между людьми, пока они были живы, связь имелась. Правильно?

– Правильно. Только это нам ничего не дает.

– И встречаться с американкой, стало быть, совершенно ни к чему?

– Зинаида Ивановна, зачем вы меня мучаете? Я нервничаю, у нас впереди важный допрос.

– Я тебя не мучаю, Шура. Я, наоборот, хочу тебя взбодрить. Вот, смотри, что у меня есть. – Она порылась в сумочке и достала тонкий маленький листок факсовой бумаги.

Это была вырезка из сводки происшествий по городу. Арсеньев пробежал его глазами и узнал, что в восемь часов утра на пульт дежурного поступило сообщение об очередном транспаранте антисемитского содержания, на этот раз его установили на Краснопресненском бульваре. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила под фанерным щитом самодельное взрывное устройство. Свидетельница, позвонившая в милицию, – гражданка США Мери Григ.

Далее шариковой ручкой был вписан телефонный номер.

– Это ее мобильный, – пояснила Зюзя, – я попросила у ребят, по старой дружбе. Ну, что ты молчишь? Или ты уже забыл свою белобрысую цээрушницу?

Сане до смерти хотелось курить. Но Зюзя не терпела табачного дыма. Саня принялся вертеть в руках зажигалку. Он не знал, куда деть руки и глаза. Следователь Лиховцева не сводила с него насмешливого взгляда. Остаток пути оба молчали.

– Шура, Шура, – нежно пропела Зюзя, когда они вылезли из машины у служебной проходной Бутырской тюрьмы, – ты так глубоко задумался, что даже не подал старой даме руку.

– Простите, Зинаида Ивановна, – спохватился Арсеньев и взял Зюзю под локоток.

– Ладно, расслабься. Сейчас нам с Булькой общаться, он начнет ныть, жаловаться, морочить голову. Господи, как я ненавижу этот запах! Тебе никогда не приходило в голову, что неплохим средством профилактики преступлений могли бы стать специальные духи под названием, скажем, «Мадам Бутырка»? Я бы раздавала флакончики бесплатно.

## Глава шестая

Толпа двигалась медленно и ровно, словно не шла через пустую площадь, а плыла по морю, как гигантский корабль, при полном штиле. Было тихо. Молчали даже младенцы. Их несли на руках. Никто не решился взять с собой детскую коляску. Вчера охранники вытряхивали из колясок младенцев прямо на булыжник, а одного, который особенно громко закричал, группенфюрер СС, профессор, доктор медицины, Отто Штраус, лично пристрелил из своего именного пистолета.

Пистолет был маленький, изящный, и руки у Штрауса тоже маленькие, женские, с тонкими холеными пальцами. Кожа на кистях нежная, прозрачная, видны голубые жилки. Не реже раза в неделю к нему приходила маникюрша Герда. Штраусу нравилось погружать пальцы в теплую воду, мутную и душистую от мыльного порошка, нравились легкое быстрое мелькание серебряной пилки, мягкое прикосновение кусочка замши, которым Герда шлифовала его выпуклые розовые ногти.

Сегодня не было колясок. Детских, во всяком случае. Но в гуще толпы группенфюрер заметил инвалидную. Ее катила женщина в синем пальто и вишневом берете. Внутри сидело нечто, закутанное клетчатым пледом. Сочиня очередной приказ, бюрократы из городской управы не учли, что, кроме детских, существуют еще инвалидные коляски. Сейчас ничего уже не сделаешь. Приказ есть приказ, порядок есть порядок. Но к завтрашнему дню следует распорядиться, чтобы написали новый приказ, учитывающий инвалидные коляски. Ведь с ними потом не меньше возни, чем с детскими.

Что касается одежды, обуви, белья, драгоценностей, тут все было организовано наилучшим образом. Сортировщики, специальная тара, строжайший учет. А для колясок не было ни тары подходящей, ни графы в бланках документации. На все имелась графа: на золотые зубы, волосы, кожу и даже такие сравнительно редкие предметы, как трости, костыли, протезы. На коляски – нет.

Настроение заметно испортилось. Только что все было хорошо. Толпа двигалась ровно, тихо. Ни криков, ни причитаний, никто не выскакивал из строя, как это случалось раньше.

Колонну гнали через вокзальную площадь к товарной станции. Там уже был готов эшелон, заранее выстраивалась охрана, отборные ребята из СС. Они стояли, широко расставив ноги в сверкающих высоких сапогах. Глаз не видно под низко надвинутыми козырьками. Только точеные, скульптурные носы, рты, подбородки. Штраус знал, что в их глазах все еще горит пламя факельных шествий, костров, в которых уничтожались вредные книги, печей, в которых сейчас по всей Европе упорядоченно, аккуратно уничтожаются вредные существа, паразиты, похожие на людей только по недоразумению.

Четыре года назад, в тридцать девятом, молодой эсэсовец, охранявший группу из пятидесяти заключенных евреев, не выдержал, открыл огонь, без всякого приказа, перестрелял всех до одного. Юноша только что прошел ритуал посвящения в «Черный орден». Сознание своей принадлежности к элитным войскам СС делало его особо чувствительным к виду евреев. Ему хотелось поскорей внести свой вклад в очищение жизненного пространства для людей высшей расы. Он был слишком молод, горяч, ему пока не приходило в голову, что, если их стрелять по одному, не хватит свинца.

Тогда, в тридцать девятом, трудно было вообразить истинные масштабы предстоящей великой работы. Все знали, что евреев много, очень много. Есть еще цыгане, славяне, негры. Одно дело – теория, и совсем другое – практика. Тут нужна техническая и административная смекалка, знание химии, социологии, психологии. Гигиенические процедуры очищения жизненного пространства должны проводиться рационально, четко, экономично. Конечно, горя-

чего юношу полагалось наказать. Но старшие товарищи поняли и простили его романтический пыл.

Штраус невольно улыбнулся, вспомнив, как сверкали глаза новобранца. И тут же нахмурился. Это сверкание, этот очистительный огонь обернулись хаосом, грязью. Гигиенические процедуры на восточных территориях с самого начала были организованы совершенно бездарно. Слишком много крови, воплей, бестолковой суеты. В августе 1942-го Генрих Гиммлер в ходе инспекционной поездки по восточным территориям остановился в Минске, чтобы лично присутствовать при казни очередной партии заключенных. Ход казни был нарушен неприятным инцидентом. Рейхсфюрера вырвало. По счастью, только люди из близкого окружения оказались свидетелями этого позора. Они достаточно хорошо знали Генриха Гиммлера, чтобы понять истинные причины. Никто не заподозрил рейхсфюрера в слабости, в жалости к истребляемым особям. Все знали, что накануне фюрер вызывал его в ставку и приказал уничтожить шесть миллионов евреев за очень короткий срок. Картина минской операции ошеломила рейхсфюрера потому, что он осознал величие своей миссии, объем предстоящей работы и степень ответственности перед будущим.

Гиммлер понял, что это безобразие следует прекратить, что к работе по очищению жизненного пространства необходимо привлечь не узколобых солдафонов, бюрократов и карьеристов, а людей образованных, честных, творчески мыслящих, талантливых администраторов, инженеров, медиков.

Существует много способов заставить толпу идти на смерть, тихо и добровольно. Толпа не должна знать, куда ее ведут и что с ней собираются делать. Не надо собачьих кнутов, воплей, прикладов. Достаточно знаковых слов, четких и убедительных: «переселение», «дисциплина», «регистрация», «дезинфекция». Достаточно вбить в сознание стада простейшую истину: пострадает только тот, кто нарушит приказ. Если вести себя хорошо, не шуметь, не выбегать из колонны, не прятаться, с тобой поступят гуманно. Необходимо дать примитивный перечень правил, что можно, а чего нельзя, и стадо станет покорным. Вот таким, как сейчас.

Штраус сделал несколько шагов к ровной колонне. Только одна деталь нарушала гармонию. Коляска. Ее хотелось изъять из кадра, прихлопнуть, как муху, которая уселась на свежий срез розовой вестфальской ветчины, соскрести, как грязь, которая налипла на сверкающий чистый сапог. Коляска приближалась. Взгляд генерала был прикован к большим, как у велосипеда, колесам, к клетчатому пледу, к фигуре в синем пальто и вишневом берете. И вдруг он отчетливо разглядел, что существо, закутанное в плед, – ребенок, мальчик лет десяти.

– Киндер! – произнес он громко. – Киндер ваген!

Отто Штраус был не только талантливым врачом, но и толковым администратором. Раз в коляске сидит ребенок, значит, она детская. Следовательно, приказ нарушен. За это полагается расстрел на месте.

Через минуту нарушительница была выведена из колонны. Вблизи стало видно, что она совсем молодая. Не старше восемнадцати. Белое овальное пятно лица, наглые еврейские глаза. Алый, развратный рот. Длинная и толстая, как змея, коса. Женские волосы, особенно такие длинные и качественные, это ценное сырье. Из них вяжут специальные, чрезвычайно теплые носки для подводников и альпинистов.

Рука с пистолетом сделала легкое, едва заметное движение. На безымянном пальце тускло блеснул перстень. Он казался серебряным, но на самом деле был отлит из платины, самого благородного из всех земных металлов. Доктор Штраус получил его от своего пациента, друга детства, бывшего одноклассника Генриха Гиммлера, от милого Гейни, в мае тридцать седьмого, в торжественной обстановке.

На печатке был портрет германского короля Генриха I Птицелова, основателя саксонской династии, жившего в начале IX века. Гиммлер обожал короля Птицелова, своего теску. Церемония принесения присяги молодыми эсэсовцами проходила перед его гробницей, в Кафед-

ральном соборе Брюнсвика, в полночь, при свете факелов. Кинжал с эмблемой СС, двумя молниями на рукояти, выдавался всем рядовым членам. Серебряный перстень с черепом – элите. Платиновый, с Генрихом Птицеловом – высшей элите, члена тайного «Внутреннего круга». Таких перстней насчитывалось не более двух десятков. Каждый отливался индивидуально, имя владельца гравировалось мельчайшими готическими буквами на тыльной стороне печати.

Существо в инвалидной коляске дернулось и обмякло. Штраус не сразу понял, что это не он стрелял. Инвалида прошел короткой очередью начальник охраны, стоявший рядом с генералом. А пистолет Штрауса заклинило.

Молодая еврейка, вероятно, сестра маленького инвалида, свалилась, как убитая, хотя в нее не стреляли. Это нерационально. Она могла еще принести пользу в лагере. Ее подняли, затолкали назад в колонну. Порядок был полностью восстановлен.

Штраус проверил пистолет, выстрелил в воздух. Оружие вполне исправно. Но рука ныла, болела, словно кто-то крепко стиснул его правую кисть, когда он хотел выстрелить в инвалида. Стиснул, а потом отпустил. Перстень Генриха Птицелова в тот момент стал нестерпимо горячим, обжег фалангу. Теперь он медленно остывал, и до сих пор был теплым, значительно теплее кожи. Фаланга безымянного пальца покраснела и припухла.

Правая рука ныла, в суставах что-то дергало, как будто там зрели нарывы. Василисе приснился кошмар. Площадь старого провинциального города, здание, похожее на вокзал. Под крышей огромные часы. Циферблат без стрелок. Странное освещение, не день и не ночь. Вероятно, сумерки или рассвет. Но солнце никогда не садится и не встает, его просто нет. Луны тоже нет. И какое время года – совершенно не понятно. Голая площадь, черный влажный булыжник. Вместо неба – пустота, глубокая, бесконечная, бессмысленная. Ни облачка, ни звезды, ни единого светового блика. Влажный булыжник должен блестеть, но кажется матовым. Стройная колонна людей медленно пересекает площадь. Вдоль пути колонны стоят вооруженные охранники в нацистской форме. Среди них высокий худой человек в черном кожаном плаще. Взгляд его прикован к инвалидной коляске, которую катит девочка в вишневом берете. Большие колеса подпрыгивают на булыжнике.

Сон, галлюцинация, не более. Девочки в синем широком пальто и вишневом берете, мальчика в инвалидной коляске, старухи в шляпе с вуалеткой и всех других шаркающих по черному булыжнику вокзальной площади женщин, детей, стариков, не существует. Не в том дело, что вскоре их загрузят в вагоны для скота, потом, рассортировав, уничтожат слабых, а тех, кто еще может работать, расселят по баракам. Их не было никогда. Они фантомы, тени. Они несуществующие объекты. Природа ошиблась изначально, предоставив им возможность расплодиться. Ошибку следовало исправить. В этом заключалась великая миссия человека в черном плаще.

Василиса смотрела на колонну из его глазниц. Сквозь нее текли все его чувства, мысли, воспоминания. Сердце группенфюрера ровными толчками гоняло кровь, желудок и печень аккуратно вырабатывали в нужных количествах соответственные жидкости, по кишечнику двигалась пища, железы методично выбрасывали порции гормонов, мозг работал четко и ясно.

Люди, которые шли колонной через площадь, не были людьми для Отто Штрауса. Сам он тоже не был человеком. Другое измерение, все другое. Перевернутый мир. Вместо неба – адская бездна. Хаос представляется гармонией, неодушевленные предметы функционируют, как живые организмы. Одушевленные, живые люди идут на убой. Время пульсирует, то сжимается до секунды, до точки, то расплзается полужидкой хлюпающей массой, готовой всосать все, что шевелится и дышит.

Зачем просыпаться и жить дальше, если существует такое зло? Зачем все это наблюдать так подробно, если ничего не можешь изменить и ни единого человека из покорной колонны не защитишь, не спасешь?

И все-таки, когда поднялась рука с пистолетом, Василисе каким-то образом удалось вмешаться в чудовищную механику. Штраус не сумел выстрелить. Это стоило огромных усилий, но не имело смысла. Мальчика в коляске все равно убили. Девочка погибнет чуть позже.

Проснувшись, Василиса ничего не забыла, но самой себе не поверила. Осталась огромная, бесконечная тоска, пустая, как небо над вокзальной площадью. Осталось покалывание в правой руке и жжение там, где надет перстень. Впрочем, руки были сильно обожжены. От локтей до кончиков пальцев постоянно болело, покалывало и горело.

\* \* \*

Клуб «Кафка» занимал двухэтажную виллу на богатой окраине Франкфурта. Снаружи здание напоминало пряничный домик, раскрашенный во все цвета радуги, с цветными витражами в окнах. Внутри было мрачно. Серые стены, серая мебель. Цинковая стойка бара, цинковые столики и стулья. В центре, в стеклянной пирамидке, стояли швабра и старое ведро. Палку швабры украшал пышный бант из розового шелка. К стеклу была приклепана медная табличка с именем автора этой оригинальной композиции: Карл Гебхардт. На стенах пестрели авангардные полотна. Художники-любители устраивали здесь свои бесплатные вернисажи. Грубые цветовые пятна, ломаные линии. Иногда проглядывало что-нибудь конкретное: глаз, торс, ступня. Изредка кому-то из любителей везло, картины покупали хозяева гостиниц, ориентируясь больше на дешевизну, чем на художественные достоинства. Нечто похожее висело в отеле, где жил Григорьев, в его номере, над кроватью. Если присмотреться, розовые пятна сливались в бугристую женскую грудь с толстыми васильковыми сосками.

Были скульптуры: мотки проволоки, комья глины, конструкции из пробок, пластиковых стаканов, обрывков газет. Но любимым материалом для художественных поделок почему-то становились части тел поломанных игрушек. Ножки и ручки пластмассовых пупсов, лапки и головы плюшевых мишек, машинки с оторванными колесами. Григорьеву было интересно, использовали авторы чьи-то старые игрушки или специально покупали новые, а потом уничтожали?

Среди всех этих красот сиротливо темнели несколько вполне удачных фотопортретов Франца Кафки.

Кондиционеры работали на полную мощность, и холод стоял такой, что казалось, сейчас повалит пар изо рта.

Григорьев пришел раньше на полчаса. Он уселся в баре, заказал себе кофе. К нему тут же подлетела энергичная седая дама в круглых очках и предложила пройти в просмотровый зал, послушать лекцию на тему «Эротическое садоводство и эротическая поэзия в немецком барокко».

– Там изумительные слайды, стихи, вы получите истинное духовное наслаждение, – строго сказала дама.

Григорьев поблагодарил и отказался. Дама удалилась. Он остался один в баре, если не считать бармена, печального юношу. Сварив Григорьеву дрянной кофе, юноша забился в угол, за стойку, и уткнулся в книгу. Григорьев успел заметить, что это учебник философии. Вероятно, бармен был студентом университета и подрабатывал на каникулах.

Андрей Евгеньевич взял несколько свежих газет, принялся листать их и тут же наткнулся на любопытную информацию в криминальной колонке газеты «Кронос».

«В Мюнхене арестованы двое бывших инструкторов восточногерманской „Штази“, которые недавно провели восемь месяцев в одном из лагерей в Афганистане, где обучали курсантов Братства бен Ладена обращению с личным химическим и бактериологическим оружием, скорее всего, с гранатами, начиненными отравляющими веществами. Известно, что также для

этих целей были наняты бывшие бойцы элитного подразделения Советской Армии, специалисты по подрывным действиям, химическому и биологическому оружию».

«Все продолжается, – подумал Григорьев, – природа не терпит пустот. В истории не бывает логических прорех».

В течение десяти лет, с 1979-го по 89-й, американцы старательно выращивали монстра. Он атаковал их в 2001-м. Произнести это вслух после 11 сентября решались только циничные неудачники, которым нечего терять. На фоне всеобщего траура и патриотического подъема это звучало кощунственно. Никто не желал вспоминать о событиях в Афганистане двадцатилетней давности, когда гигантские средства были затрачены на вооружение и обучение афганских муджахидов. Усама бен Ладен, сегодняшний главный враг Америки, в конце семидесятых был завербован ЦРУ.

Тогда Афганистан называли «мягким подборюшьем» Советского Союза. Шла холодная война. Соблазнительно вцепиться в уязвимое место противника, тем более – чужими клыками. Так соблазнительно, что не хочется думать о последствиях.

В конце 80-х стало очевидно, что монстр вышел из-под контроля. В горной стране, дикой, вечно голодной, наспигованной оружием и наркотиками, выращивать отряды боевиков очень опасно.

В апреле 1988-го в Женеве представителями Афганистана, Пакистана, СССР и США были подписаны четырехсторонние соглашения о политическом урегулировании в Афганистане. Через четыре месяца взорвался самолет, на борту которого находился президент Пакистана Зия уль-Хак и посол США в Пакистане.

В феврале 1989-го последние советские солдаты покинули Афганистан. Холодная война между Россией и США официально была объявлена законченной. Победителей не оказалось. Но был побежденный – весь цивилизованный мир. Мир гуманный и сытый, свободный и щедрый. Мир, в котором благотворительные организации торгуют оружием и наркотиками. Президенты ядерных держав и руководители силовых структур, как средневековые монархи, верят шепоту придворных астрологов и колдунов охотней, чем здравому смыслу. Женщины и дети обвязывают себя взрывчаткой, а интеллектуалы правозащитники заняты борьбой за права убийц. Гигантские спецслужбы, со всеми их космическими и компьютерными технологиями, оказываются бессильны перед наглостью и коварством горстки маньяков.

Злодей номер один, бывший враг России, нынешний враг Америки, мог быть десять раз арестован или уничтожен задолго до сентября 2001-го. Многолетняя дружба с ЦРУ не прошла бесследно. Связи Усамы, его денежные каналы, его родственники и сподвижники – все известно. Но деньги Усамы, его оружие, его боевики шли в Чечню. И хотя холодная война осталась позади, ужасно не хотелось, чтобы заживали старые раны бывшего противника. К тому же многочисленное богатейшее семейство саудовского безумца продолжало участвовать в совместных коммерческих проектах с американскими бизнесменами и военными. Клан бен Ладенов вкладывал в эти проекты огромные деньги. 1998-м семья заключила очередной контракт на строительство казарм для американских солдат, направляемых в Персидский залив, и вложила в это строительство 150 миллионов долларов. Как же можно ответить на такую щедрость арестом и убийством Усамы? Конечно, официально семья отреклась от своего заблудшего брата. Публично, через средства массовой информации, многочисленные родственники призывали Усаму одуматься и сдаться властям Саудовской Аравии, заявляя при этом, что не располагают никакими сведениями ни о нем, ни о каналах передвижения его финансовых потоков.

Родственные связи, единство внутри клана – это очень серьезно, особенно на востоке. По сути, гигантские денежные вливания семьи саудовских миллиардеров в американскую экономику были чем-то вроде выкупа за Усаму.

И все-таки 20 августа 1998 года президент Клинтон дал согласие на пуск крылатых ракет «Томагавк». Завод в северной части Хартума был стерт с лица земли. По данным разведки, этот

завод являлся одним из стратегических объектов Усамы в Судане, производил нервно-паралитический газ VX, используемый как химическое оружие. В тот же день ракетами обстреляли штаб-квартиру террориста № 1 в Хосте (Афганистан).

Мировая пресса назвала эту двойную атаку величайшим провалом американских спецслужб. Завод в Хартуме производил безобидные медикаменты. В Афганистане вместо Усамы пострадали невинные люди, женщины и дети. Американцам пришлось вернуть владельцу завода, мирному суданскому промышленнику, 25 миллионов долларов, которые к моменту атаки были заморожены на его счетах в американских банках. Дипломатические отношения с Суданом прекратились. Усама остался не только жив и здоров, но и при своем шикарном венце мученика за веру, и при новых выгодных государственных контрактах, заключенных с правительством Судана.

Билли Макмерфи тогда чуть не слетел со своего поста. Информация о заводе в Хартуме и о том, что бен Ладен, якобы, находится в Хосте, пришла через его источники.

В Бруклине находился один из филиалов международной благотворительной организации «Муслим», которая официально занималась помощью беженцам мусульманам, на самом деле являлась одним из координационных центров «Братства Усамы».

Макмерфи удалось внедрить туда своего информатора, таджика Ибрагимова, активиста исламского движения, беженца из бывшего СССР. В какой-то момент Ибрагимов был переведен «братством», а может, с самого начала работал на два фронта, не важно. Именно он сообщил Билли о заводе и о Хосте. На проверку времени не оставалось. Ибрагимов сказал, что буквально через несколько часов партия баллонов с газом будет отправлена с завода за океан, и неизвестно, в каком именно городе США состоится газовая атака в метро, наподобие той, что устроил в Токио Асахара. Усама не собирается долго задерживаться в Хосте, и надо спешить.

Макмерфи поспешил. Правда, данные, полученные от своего информатора, он представил руководству как непроверенные, но потом, после позорного провала, его осторожные комментарии были забыты. Только старые связи и наработанный за многие годы безупречной службы авторитет помогли Билли избежать серьезных неприятностей.

Таджик Ибрагимов исчез бесследно.

Макмерфи встретился с двумя цивилизованными бандитами, надеясь получить информацию об исчезнувшем Ибрагимове. Билли искал человека, который так чудовищно подставил не только его лично, но и все спецслужбы США. В память о встрече осталась видеозапись и фото пленка, где было запечатлено, как Макмерфи кушает шашлык с двумя бандитами.

Лекция на тему «Эротическое садоводство» закончилась. Из соседнего помещения раздавался гул голосов, смех. Дверь была приоткрыта, слушатели потихоньку перебирались в бар. Студент философ оторвался от учебника, варил кофе, разливал спиртное и соки. Возле стойки образовалась небольшая оживленная очередь. Андрей Евгеньевич с громким шорохом перевернул очередную газетную страницу, но читать уже не смог. Сквозь гул голосов до него донеслась отчетливая фраза:

– Нет, милый, тебе не стоит сейчас пить холодное, ты охрипнешь.

Это было произнесено с материнской нежностью.

Григорьев поднял глаза. Через зал шла пара. Полный лысый пожилой господин в светлом костюме и худенький юноша в черных обтягивающих джинсах, в серебристой шелковой сорочке. Мягкие светлые волосы зачесаны назад и стянуты в хвост на затылке. Лицо бледное, тонкое, кожа прозрачная и чистая, как у девушки, глаза аккуратно подведены, алый пухлый рот приоткрыт в застенчивой сладкой улыбке. Довольно было одного взгляда на эту пару, чтобы понять: хитрый ледяной господин Рейч вляпался очень серьезно на старости лет.

– Рики, ты уверен, что не хочешь ничего съесть?

– Отстань. Я сыт.

– Рики, детка, что не так? Что?

– Я просил тебя не надевать этот идиотский костюм, ты в нем похож на провинциального учителя.

Они уселись за соседний столик. Зеленые близорукие глаза Рейча скользнули по лицу Григорьева.

– Хочу икры, – задумчиво произнес Рики.

– Но здесь не бывает. После выступления мы поужинаем в ресторане.

– Я хочу сейчас. Почему так мало народу? Ты обещал хорошую рекламу.

Григорьев искренне пожалел Рейча. Старый авантюрист, безусловно, узнал его, но не смел отвлечься от своего капризного Рики.

– Простите, – улыбнулся Андрей Евгеньевич, – мне кажется, настоящая литература не нуждается в рекламе. Я приехал из Америки, специально, чтобы посмотреть на последнего и единственного гения немецкого авангарда. Надеюсь, вы дадите мне автограф?

Рики помахал ресницами. Рейч благодарно улыбнулся и подмигнул.

– Добрый вечер, господин Григорьефф. Рад вас видеть.

– О, это твой знакомый? – слегка удивился Рики.

– Да. Это американец русского происхождения, граф, кажется?

– Князь, – серьезно уточнил Григорьев.

– Настоящий? – Рики порозовел от удовольствия. – Чистокровный русский князь? Да, это сразу видно! Такое породистое лицо. Очень, очень рад познакомиться.

– Ну вот. – Рейч погладил своего крошку по щеке. – Я обещал тебе русского аристократа на твоём выступлении – вот он. Я обещал икру – будет икра. Но позже.

– Неужели вы купили мою книгу в Америке? – спросил Рики.

– Конечно, – легкомысленно соврал Григорьев, – я нашел ее в маленькой книжной лавке в Нью-Йорке, в Гринвич-вилледж, и проглотил буквально за сутки. Не могу похвастать, что свободно владею немецким. Но главное я понял: передо мной яркий, талантливый писатель.

Григорьев покосился на Рейча, спрашивая взглядом, не перебарщивает ли он. Бедняга улыбался, благодарно и счастливо. Настроение капризули Рики заметно улучшилось.

## Глава седьмая

Евгений Николаевич Рязанцев плавал в небольшом бассейне у себя на участке, от одной кафельной стенки до другой. Вода была теплой и пахла хлоркой. Евгению Николаевичу было скучно. Он знал, что ровно через десять минут откроется задняя калитка и по дорожке к дому, как тень, проскользнет фигура его жены Галины Дмитриевны, в длинной юбке, в платке на голове. Они увидят друг друга, но оба сделают вид, что не заметили. Поздороваются, только если столкнуться лицом к лицу в доме. Завтракать будут отдельно.

Два года назад Евгений Николаевич забрал жену из частной психиатрической клиники. Врачи уверяли, что она практически здорова. Он с ними не мог согласиться.

Не реже трех раз в неделю Галина Дмитриевна ходила в ближайшую сельскую церковь на службу, вместе с деревенскими старухами исповедалась, причащалась. Главным человеком в ее жизни стал батюшка, настоятель храма, пухлый низкорослый старик с колючими глазами и седеньким хилым хвостиком, стянутым аптечной резинкой.

Евгений Николаевич не считал себя атеистом, мог иногда потихоньку перекреститься, во время Великого поста старался не есть мяса и яиц, на Пасху и в Рождество заходил в храм, ставил свечки. Но сейчас церковные ритуалы и тот особый образ жизни, который вела его жена и ее новые знакомые, вызывали у него кислую сонную тоску. Что может быть общего между огромным, бесконечным, сложным понятием веры в Бога и этими бабьими платочками, длинными бесформенными юбками, хлебными крошками в бороде у батюшки, диетической дисциплиной постов?

Галина Дмитриевна ничего не читала, кроме специальной православной литературы, в ее комнате работало радио, настроенное на одну из православных радиостанций, телевизор она вообще никогда не смотрела. Молилась перед завтраком, обедом и ужином. Прежде чем лечь спать, не менее получаса стояла на коленях, отбивала поклоны. Евгению Николаевичу было трудно с ней разговаривать, даже на самые мелкие, бытовые темы. Они категорически не понимали друг друга. Она говорила страшно тихо, так, что приходилось напрягаться, чтобы расслышать. Она никогда не возражала, не упрекала ни в чем, но рядом с ней он чувствовал себя хронически виноватым, греховным, грубым существом.

В очередной раз вынырнув из воды, он увидел, как Галина мелко семенит по тропинке, хотел опять нырнуть, но в доме хлопнула дверь. Появился начальник службы безопасности Егорыч, в руке у него был телефон. Две фигуры двигались навстречу друг другу. Галина Дмитриевна шла, низко опустив голову, обмотанную темным старушечьим платком, и наверняка бормотала про себя молитву. Егорыч, в небесно-голубых джинсах и белой футболке, неся энергичным галопом, при этом глядел на бассейн и уже открыл рот, чтобы что-то крикнуть Рязанцеву.

«Сейчас врежусь!» – отметил про себя Евгений Николаевич.

Егорыч, бывший полковник КГБ, аккуратно следовал бандитско-номенклатурной моде. Он тоже стал православным, постился и любил поговорить о том, как это в принципе полезно для здоровья. К Галине Дмитриевне относился с трепетом и почтением, даже побаивался ее, называя «женщиной божественной, продвинутой в смысле духовности».

Галина шла, низко опустив голову и глядя под ноги вовсе не потому, что боялась споткнуться, просто у нее выработались новые привычки, новая пластика и мимика. Она даже как-то вся съежилась, стала ниже ростом от своего смирения.

Рязанцев мог бы окликнуть жену или дать знак Егорычу, чтобы тот посторонился. Но ему вдруг стало весело и захотелось, чтобы они столкнулись, чтобы энергичный, жилистый начальник охраны сшиб божественную женщину с ног. Он представил, как забавно станет извиняться

Егорыч, как Галина примется отряхивать юбку и поправлять платок. Хоть что-то случится, хоть какая-то мелочь возмутит нудное течение его домашней жизни.

В последний момент Галина подняла голову и отступила.

– Доброе утро, Егорыч, – произнесла она со своей обычной смиренной улыбкой.

– Доброе, доброе, – небрежно, без всякого почтения, откликнулся Егорыч, подхватил полотенце, валявшееся в плетеном кресле, и протянул Рязанцеву телефон.

Он услышал женский голос с мягким, едва уловимым акцентом.

– Здравствуйте, Евгений Николаевич. Это Мери Григ.

– Маша, вы уже в Москве?

Он знал, что она должна прилететь, но забыл, когда именно. Ее приезд означал, что пора выходить из долгой спячки, начинать жить и действовать. По сути, это его последний шанс. Если сейчас он не соберется, не взбодрится, то американцы заменят его кем-нибудь другим. И будут правы. Зачем вкладывать деньги в политика, который утопает в хронической депрессии, постоянно болеет, ноет и спит на ходу?

Рязанцев с телефоном в руке неуклюже вылез из бассейна. Мери Григ готова была явиться к нему прямо сегодня, часа через полтора. Ему хотелось спать. Жара действовала убийственно. День только начался, а он уже устал. Хотелось забиться в нору, в свой кабинет, пить ледяную воду, валяться на диване и смотреть старые американские мультфильмы.

«А может, правда, стоит послать все к черту? Отказаться от встречи с мисс Григ, от завтрашней пресс-конференции, и прямо сейчас, в самом начале пиарошной кампании по объединению оппозиционных партий, умотать в Испанию или на юг Франции?»

Два года назад у Рязанцева случилось несчастье. История была грязная, запутанная и весьма оскорбительная для Евгения Николаевича. При расследовании двух убийств на свет Божий вылезла семейная грязь, которую потом пришлось еще долго и мучительно разгребать. Это пожрало столько драгоценной жизненной энергии, что Евгений Николаевич стал чувствовать себя никчемным существом, вроде яблочного огрызка. В итоге глава партии «Свобода выбора» впал в тяжелую депрессию и готов был подать в отставку. От этого глупого шага его спасла Мери Григ. Она в тот тяжелый период выполняла функции его пресс-секретаря, оградила от назойливого внимания прессы, вывела из душевного кризиса, сумела даже примирить с тихим и мучительным присутствием в его жизни жены Галины.

Тогда, два года назад, Мери Григ улетела домой, в Нью-Йорк, оставив его здоровым, сильным и в гармонии с самим собой. Она честно выполнила задание своего руководства из ЦРУ. Эта организация вложила в партию «Свобода выбора» большие деньги и не была заинтересована, чтобы Рязанцев сломался.

Он не сломался тогда, но был почти сломлен сейчас, хотя никаких личных драм не переживал. Просто устал, понял, что никто на свете его не любит и сам он никого не любит. Вся его карьера – блеф. И семья тоже блеф. Исчезни он с политической сцены или умри прямо завтра, никому даже грустно не станет. Смиренная жена закажет отпевание, поплачет по-христиански, помолится за упокой его грешной души. Сыновья прилетят из Англии, прольют несколько скудных мужских слезинок и станут жить дальше. Вот американцы, пожалуй, будут искренне огорчены. Он дорого им обошелся. Разумные хозяева заботятся о своей собственности. Поэтому они опять прислали к нему Мери Григ.

– Евгений Николаевич, я не поняла, вы хотите, чтобы я приехала к вам домой, или лучше встретиться в городе, пообедать где-нибудь?

«Лучше, если вы все оставите меня в покое!» – прохныкал про себя Рязанцев и, кашлянув, произнес в трубку:

– Приезжайте ко мне, Маша. Обедать в Москве в такую жару не хочется, а я все-таки живу за городом, здесь воздух чище.

– Хорошо, как скажете. До встречи.

Рязанцев вернул Егорычу телефон. Даже сквозь пелену своего кислого равнодушия он заметил, как пристально и напряженно смотрит на него начальник охраны.

– Что ты, Егорыч?

– Ничего. Американка во сколько явится?

– Часа через два. Да в чем дело? Почему ты так напрягся?

– Нет, все в порядке. Просто не нравится она мне.

– Чем же? – удивленно улыбнулся Рязанцев.

– Да так. Очень умная. Лезет, куда не просят.

– Брось, Егорыч, ее два года здесь не было. Сейчас начинается кампания по объединению партий, и хорошо, что прислали ее, а не кого-то другого.

– Ну, не знаю, не знаю. Лучше бы они вообще никого не прислали. Они вас контролируют, как будто вы больной или не в своем уме. Они во все лезут, учат нас, русских, жить. У них своих проблем хватает, а наши мы уж сами как-нибудь решим.

Рязанцев терпеть не мог, когда хитрый Егорыч прикидывался невинным валенком. Начальник охраны прекрасно знал, что американцы вкладывают в партию «Свобода выбора» большие деньги и имеют полное право присылать своих экспертов.

– Ладно, хватит. Тут зрителей нет, так что не устраивай спектаклей, – сердито одернул его Рязанцев, – хочешь сказать что-то по делу, говори.

– Хавченко – их работа, – чуть слышно пробормотал Егорыч, – никто ничего не докажет, но это их работа. А если уж совсем честно, Хача убрали по наводке этой вашей белобрысой американки.

Хавченко по прозвищу Хач руководил партийным пресс-центром. Рязанцев терпеть его не мог за хамство и бандитские повадки. Американские деньги, и вообще все чужие деньги, прилипали к его рукам, словно эти пухлые розовые ладошки были смазаны клеем. Он воровал много и нагло, строил себе особняки, покупал джипы и «Мерседесы», носил бриллиантовые запонки, менял девок, плохо говорил по-русски, никакими иными языками не владел.

Два года назад Хач вошел в число подозреваемых в убийстве Вики Кравцовой и Томаса Бриттена. Американская сторона считала, что он мог быть заказчиком. Бриттен незадолго до смерти обращал внимание своего руководства на то, что через Хавченко деньги уходят к бандам. Мери Григ не успела заняться проверкой. По причинам, Евгению Николаевичу до сих пор неизвестным, она улетела в Нью-Йорк значительно раньше, чем предполагалось. Однако с Хавченко дотошная леди побеседовала, и он произвел нее неприятное впечатление. Она сказала, что насчет денег пока не знает, но в любом случае такому человеку неприлично возглавлять партийный пресс-центр.

Хача убили в июне прошлого года. Это было классическое заказное убийство. Снайпер прострелил ему голову, когда он шел от ресторана к машине. Исполнителей и заказчиков так и не нашли. Для Рязанцева и его близкого окружения одной из главных версий оставалась та, которую условно обозначили как «американскую». Разумеется, ЦРУ и международный концерн «Парадиз» в лице господина Хогана не наняли снайпера, чтобы расправиться с Хачем. Они просто разработали новую систему финансирования партии «Свобода выбора», при которой жулик уже не имел прямого бесконтрольного допуска к деньгам.

Хач так привык решать свои финансовые проблемы за чужой счет, что не сразу сориентировался в ситуации. А когда понял, что происходит, не сумел осознать и поверить, что к американской кормушке его теперь не пускают. Между тем его товарищи и покровители не желали терпеливо ждать, особенно когда речь шла о деньгах. Они привыкли регулярно получать дань от Хача. А он стал скуп. Время шло. Росли долги, товарищи Хача сердились. В итоге у кого-то из них сдали нервы.

Но возможно, Хач пал жертвой очередной эпидемии криминальных разборок и заказных убийств. Американцы с их деньгами вообще не имели к этому отношения.

– Ты вроде бы собирался сегодня в тренажерный зал, – напомнил Рязанцев Егорычу, когда они поднимались на крыльцо.

– А? Нет, в такую жару не охота.

– Там же кондиционеры. Поезжай, я тебя отпускаю на целый день.

Евгению Николаевичу вовсе не хотелось, чтобы начальник охраны вертелся рядом, когда они будут общаться с Мери Григ. Он сам пока толком не понимал, почему.

– Мне тут надо кое-чем заняться, и вообще, не время сейчас.

– Если ты собираешься слушать, о чем мы будем беседовать с американкой, я тебя сразу предупреждаю: нет! – Рязанцев постарался сказать это как можно жестче. Все-таки он здесь был главным, а не Егорыч.

– Я останусь, – отчеканил Егорыч, пристально глядя в глаза партийному лидеру, – пока еще я несу ответственность за вашу безопасность, а потому останусь.

– Очень интересно. – Рязанцев туже затянул пояс легкого халата и уселся на диван. – Какое отношение имеет моя безопасность к приезду Мери Григ?

– Самое прямое.

Егорыч стоял над ним, широко расставив ноги.

– Ты с ума сошел? – вкрадчиво спросил Рязанцев и взглянул на него снизу вверх.

– Я в своем уме. – Егорыч нагло, упорно смотрел в глаза Евгению Николаевичу. – Вы бы лучше побеспокоились о собственном здоровье.

– Что?!

– Что слышали.

– Так. – Рязанцев резко закинул ногу на ногу, оголив бугристое волосатое колено, и попытался придать своему лицу максимально спокойное и снисходительное выражение. – На тебя, Егорыч, жара действует очень плохо. Ты несешь какую-то ересь. Успокойся и попробуй сформулировать максимально четко, что ты имеешь мне сообщить.

Едва заметная усмешка змейкой проскользнула по тонким красным губам Егорыча. Он продолжал пялиться в глаза Рязанцеву. Взгляд сверху вниз был неприятен. Евгений Николаевич почувствовал себя диссидентом застойных времен на допросе в пятом отделе КГБ.

– Я имею вам сообщить, – саркастически передразнил его Егорыч, – что Мери Григ не только профессиональный психолог. Она еще и офицер ЦРУ. Их там обучают таким гадостям, которые вам даже в кошмарных снах не привидятся. Она будет с вами мило беседовать, и со стороны никто ничего не заметит. Да и вы сами вряд ли почувствуете. Она вас обработает так, что вы превратитесь в марионетку, в зомби.

– Зачем? – быстро, деловито спросил Рязанцев прежде, чем до него дошла суть услышанного.

– Затем, что, если вы возглавите объединенную оппозицию, вы должны будете полностью, безоговорочно подчиняться их воле. А если вы окажетесь за бортом, то в дальнейшем можете стать для них опасным свидетелем. Вдруг вас кто-то перекупит или припугнет, и вы расскажете, что столько лет работали на них? Сейчас такой момент, что им надо усилить контроль над вами, как вы не понимаете?

Егорыч говорил быстро, хрипло, с придыханием. Евгению Николаевич стало одновременно и страшно и смешно. Бывший полковник оказался отвратительным актером. Речь его звучала фальшиво, пафос отдавал мыльным душком. Егорыч прекрасно знал, какую порет чушь, но не испытывал ни малейшей неловкости.

– Ты считаешь меня идиотом? Ты врешь, как наглядная агитация брежневских времен. И не краснеешь. К чему бы это? Ладно, я устал от тебя. Если не можешь толком объяснить, чего надо, уматывай. Все, свободен.

– Я не вру, – невозмутимо возразил Егорыч, – возможно, я преувеличиваю, не совсем точно формулирую. Американка явилась сюда по вашей душе. Она будет вас обрабатывать. Вы

устали. Но не от меня, а от себя самого. Вы сейчас в таком состоянии, что из вас можно веревки вить.

– Чем ты и занимаешься, – вздохнул Рязанцев, – у тебя какая-то своя игра, свои интересы. Мери Григ тебе мешает. Либо ты выкладываешь мне все по-честному, либо пошел вон!

Это было произнесено вяло и неубедительно. Кураж, вспыхнувший на минуту, тихо угас. Рязанцеву опять стало скучно, челюсти свело зевотой. Человек, который хамит не по природной склонности, а от бессилия, выглядит жалким. Евгений Николаевич был устроен достаточно тонко, чтобы чувствовать такие вещи, и озноб неловкости, который изводил его в последнее время, продрал как-то особенно мощно. Начальник охраны продолжал возвышаться над ним бело-голубой глыбой и нагло, неотрывно сверлил его взглядом. Рязанцев понимал, что, если сейчас плюнуть, позволить ему остаться, в дальнейшем он всегда будет диктовать ему свою волю. Надо заставить его убраться отсюда, во что бы то ни стало, хотя лень, и скучно.

– Ну что застыл? – спросил он, не сдерживая зевков. – Ты можешь идти, Егорыч. Свободен.

Бывший полковник больше не произнес ни слова, развернулся, направился к двери, хлопнул ею так, что зазвенело стекло. Самое неприятное, что он так и не ответил, уедет ли, останется ли, и что вообще собирается делать дальше.

\* \* \*

– Меня здесь скоро замочат, – с тоской произнес рецидивист Булька и колупнул грязным ногтем краску на столе. – Я не убивал этого вашего писателя. А меня здесь точно замочат.

– Кто и почему? – спросила Зинаида Ивановна, вглядываясь в мутные несчастные глаза подозреваемого.

– В камеру психа посадили. Он на меня смотрит. Его посадили специально. Он меня замочит, но сделает так, будто я сам. Понимаете?

– Не совсем, – честно призналась Лиховцева.

Булька обшарил глазами маленькую комнату для допросов, поднял голову, оглянулся и уперся взглядом в Арсеньева, который стоял у него за спиной.

– Пусть она выйдет, – прошептал он, мучительно морщась, – я не могу при ней. Пусть выйдет.

Такое повторялось почти на каждом допросе. Булька не мог говорить при следователе Лиховцевой. Она, по его словам, была ужасно похожа на врачиху из диспансера, где он однажды проходил лечение от наркотической зависимости, и вызывала целую бурю тяжелых воспоминаний. В тюрьме ему пришлось пережить несколько мучительных «ломок», он чуть не погиб. В итоге почти вылечился от наркомании, правда, сам пока не мог поверить в это.

Поскольку Булька оставался практически единственным источником информации по делу об убийстве писателя Драконова, приходилось считаться с его желаниями.

Всякий раз, когда он просил Зюзю выйти, он сообщал Арсеньеву какую-нибудь новую мелкую подробность. Иногда казалось, что он вот-вот признается если не в убийстве, то в чем-то еще, что существенно продвинет расследование. Он явно знал больше, чем говорил, однако кто-то контролировал его, держал на коротком поводке. Вполне возможно, с ним даже была заключена сделка. Ему обещали покровительство и комфортное пребывание на зоне, если он возьмет на себя убийство, которого не совершал.

Впрочем, мог работать другой механизм. Куняев действительно ограбил и убил писателя Драконова, но не один. У него были сообщники. И все это время через тюремную почту шел торг. Они пытались заставить его молчать и брать все на себя одного. Он выдвигал какие-то свои требования. В принципе, это могло продолжаться бесконечно.

Почти сразу после ареста в камеру к Бульке подсадили осведомителя. Это был человек пожилой, опытный. Ему удавалось раскалывать куда более серьезных преступников. Куняев

легко пошел на контакт, стал откровенен, много возбужденно говорил, плакал, повторял, что влип, запутался и теперь жизнь его кончена. Однако на главный вопрос – убил, или нет, – информатор ответа не получил. Булька уверял, что не помнит, был как в тумане и очень хотел денег. Куняев любил деньги. Информатору пришлось раз десять выслушать трогательную историю этой неразделенной любви.

Денег Бульке хотелось даже больше, чем наркотиков. Очередной порции «дури» требовало его тело. Денег жаждала душа. Купюры для него были не средством, а целью. Он не мечтал о вещах, которые можно купить, о путешествиях, в которые можно отправиться. Он думал о деньгах, как о символе абсолютного счастья, и относился к ним настолько трепетно, что ни разу не назвал «капустой», «бабками», «гриннами».

Каким-то образом он узнал, что писатель, его сосед, должен получить много денег, и тут же ясно представил тощего Драконова с седым хвостиком, в кожаных брюках. Портфель в руке старика зазывно сверкал пряжками, пульсировал и дышал, одушевленный своим волшебным содержимым. Толстые пачки долларов тревожно трепетали и перешептывались. Они рвались на волю, им было душно в портфеле из грубой свиной кожи. Отнять у противного старика деньги казалось сказочным подвигом, все равно что вырвать нежную красавицу из лап чудовища.

– Да, – соглашался осведомитель, – чудовище не жалко. Можно дубиной по башке, правда?

– Жалко! Очень даже! – Булька всхлипывал, шмыгал носом, размазывал кулаками слезы. – Я муху прихлопнуть не в состоянии. Как представлю, что она тоже хочет жить, – отпускаю. В деревню с мамой ездили, там хозяин головы курочкам рубил. Мне так стало плохо, так страшно, будто я тоже курочка.

В общем, Куняев уходил от главной темы, и получалось, что информатор зря тратил на него время и душевные силы.

Всякий раз, когда подозреваемый просился на допрос, возникала надежда узнать нечто новое, но почти никогда она не оправдывалась. Булька ныл, клячил сигареты, погружался в мучительные воспоминания о месяце, проведенном в диспансере, просил Зинаиду Ивановну выйти.

Разговаривать с Куняевым было трудно. Зюзя охотно оставляла своего подследственного наедине с Арсеньевым.

– Допустим, я возьму на себя это убийство. Вы меня на следственный эксперимент повезете? – прошептал Булька, когда за Лиховцевой закрылась дверь.

– Что значит – допустим, возьмешь на себя? Ты убивал или нет?

– Не знаю, – Булька обхватил ладонями свою маленькую бритую голову и облизнул губы, – я был под кайфом. Я ни хрена не помню.

– Ладно, – смиренно кивнул Арсеньев, – давай вспоминать вместе. Начнем с того, что ты до этого людей не убивал. Грабил, да. Было дело. Но грабил ты ларьки и машины. Это ведь совсем разные вещи. Согласен?

– Еще бы, – криво усмехнулся Куняев, – тем более, этого старика я, в принципе, знал. Не просто человек. Знакомый.

– А может, именно потому, что знакомый, ты и решил убить, а? Кстати, ты не вспомнил, кто тебе сказал, что Лев Абрамович должен получить большие деньги?

– В «Килечке» говорили.

«Килькой» называлось кафе, в котором Куняев Борис Петрович числился экспедитором. Там лежала его трудовая книжка, там он проводил много времени, грузил ящики с пивом и продуктами, подменял то уборщицу, то судомойку, просто болтался на кухне и в подсобке. Писатель Драконов бывал в этом кафе довольно часто. Оно находилось в квартале от его дома. Писатель приходил иногда пообедать, иногда только выпить чашку кофе и рюмку коньяку.

Арсеньев успел побывать в «Кильке» уже несколько раз, беседовал с официантами, узнал, что покойный любил рыбную солянку, судака в кляре, мясо ел редко и если заказывал мясные блюда, то предпочитал мягкую постную свинину.

– А кто конкретно говорил о деньгах писателя?

– Не помню! – жалобно простонал Булька.

Саня чувствовал, что он врет. Но не ему, майору, а прежде всего самому себе. Что-то все-таки застряло в его мутной башке, какая-то информация, важная и опасная, сидела в мозгах, как заноза. Он хотел сказать, но не мог. Или мог, но не хотел.

– Слушай, а почему ты так боишься следственного эксперимента? – внезапно спросил Арсеньев.

– Стыдно. Во дворе все меня знают, будут смотреть, обсуждать. Потом на маму пальцами начнут показывать.

– Но ведь и так все знают.

– Я не убивал, честное слово.

– Верю, – кивнул Саня, – помоги нам это доказать, помоги найти настоящего убийцу.

– Ага, а они маму мою замочат, – Булька произнес это совсем тихо, чуть слышно, и тут же испугался, уставился на Арсеньева безумными глазами.

– Кто они? – так же тихо спросил Саня.

– Кто? – повторил Булька.

– Ты сказал «они». Тебе или твоей маме угрожали?

– Что? – Булька часто, глупо заморгал.

– Если они такие гады, что матью тебя шантажируют, им верить нельзя. А мы, между прочим, маму твою можем защитить.

– Как?

– Ну, допустим, мы с Зинаидой Ивановной попробуем устроить ее в больницу.

– Уборщицей?

– Зачем уборщицей? Мы положим ее поправлять здоровье. Она ведь женщина пожилая. Наверняка есть какие-нибудь хронические заболевания. Почему бы ей не подлечиться в хорошем госпитале? А там охрана. Там ее никто не достанет.

– Но она же не всю жизнь там будет лежать, – резонно возразил Булька.

– Конечно. Ровно столько времени, сколько понадобится, чтобы найти и обезвредить настоящих убийц. Как свидетель ты опасен до тех пор, пока молчишь. А когда уже все рассказал, какой смысл тебя трогать? Ты же назад свои слова не проглотить?

– Я не то, что слова, – язык проглочу, – отчаянно всхлипнул Булька.

– Смотри, как они тебя запугали и как подставили, – Арсеньев сочувственно покачал головой. – Раздразнили разговором о деньгах писателя, накачали дурью до полнейшего беспомыслия. А денег в портфеле не оказалось.

– Ага. Только бумаги, – эхом отозвался Булька.

– Какие бумаги?

– Черт их знает. Просто листы.

Арсеньев затаил дыхание. Раньше про бумаги Булька не говорил. Он повторял, будто намертво забыл все, что происходило с ним той злополучной ночью.

– Чистые листы? – осторожно спросил Саня.

– Нет. Что-то было написано.

– Что?

– Ну, я же не читал. Просмотрел, думал, может, деньги внутри, и все сложил на место.

– В портфель?

– Сначала в папку. Такая папочка, прозрачная, на кнопке. Сверху, на первой странице, написано «Генерал Жора», очень крупно. А дальше вроде мелкий текст, почерк косой, неразборчивый.

«Рукопись. “Генерал Жора”» – чиркнул Арсеньев в своем ежедневнике и, не глядя на подозреваемого, как бы продолжая писать, спросил быстро и небрежно:

– Когда ты взял портфель, Драконов был еще жив?

– Жив, – энергично закивал Булька, – то есть совсем жив, даже очень. Заказал больше, чем обычно. Болтал с Надькой, официанткой. Она хихикала. Я решил, что это он из-за денег такой радостный. Это ж было в пятницу, двенадцатого мая. Десятого у мамы день рождения, я отпросился на два дня, а двенадцатого отработывал.

– Так. Стоп. Давай-ка все подробно, по порядку, – Арсеньев закурил и угостил сигаретой Бульку, – получается, что ты заглядывал в портфель Драконова за день до убийства?

– Ну да, в «Килечке», в сортире. Писатель попил, поел, расплатился, перед уходом в сортир зашел. Портфель поставил на подоконник. И забыл там. Потом, конечно, вспомнил, вернулся, Иваныч ему отдал. А я пол протирал, смотрю – портфель. И никого вокруг. Ну вот, я не удержался. Прямо сами руки потянулись. Но денег там никаких не было.

– А ручка? Кредитная карточка?

– Не помню. На фига мне это?

– Но ручку ты потом поменял на наркотики. А с карточки снял всю наличность.

– Ой, блин, так я вроде как нашел эти штуки. Ручку, карточку. Я ж не знал, чье это хозяйство.

– На карточке написана фамилия владельца, – тихо заметил Арсеньев.

– Так не по-русски же! – простонал Булька. – Я что там написано не читал. Я увидел бумажку, на ней четыре цифры, крупно, и решил попробовать, вдруг это код? Попробовал. Получилось. Да если бы я знал, чье это все, я бы сразу выкинул подальше! Я ж не совсем лох.

– Совсем, – вздохнул Арсеньев, – совсем ты лох, Куняев Борис Петрович. Почему ты раньше этого не рассказывал?

– Ну, так, это... – Булька нервно подергал себя за нос, – я думал, если скажу про портфель, еще больше запутаюсь. И потом Иваныч железно обещал молчать. Чего ж я буду?

– Погоди, кто такой Иваныч?

– Швейцар. Он как раз заглянул, когда я закрывал этот несчастный портфель. И шуганул меня. Правда, тихо, шепотом. Потом у нас с ним разговор был. Я, конечно, приврал, сказал, будто не успел заглянуть внутрь, только собирался. Но, в принципе, если бы кто узнал, меня бы точно выгнали из «Кильки». Иваныч хороший человек. На первый раз, говорит, прощаю, считай, я ничего не видел.

Однажды Арсеньев уже допрашивал швейцара, и тот ни словом не обмолвился об истории с портфелем. С каждым из работников «Кильки» он обсуждал подробности вечера накануне убийства. Куняев действительно подменял заболевшую уборщицу и отвечал за чистоту туалетов. Писатель Драконов ужинал в одиночестве, иногда говорил по мобильному телефону.

Из всех работников кафе швейцар оказался самым сострадательным человеком. Он жалел убитого, жалел подозреваемого, тяжело вздыхал, повторял, что Булька парень в принципе добрый, мухи не обидит. Конечно, надо поговорить с ним еще раз. Он должен подтвердить историю с портфелем. Отпечатки Куняева на внутренней стороне крышки были самой важной уликой. Если он заглядывал в портфель за сутки до убийства, это серьезно меняет дело.

– Ну может, теперь расскажешь, кто тебе угрожает? – спросил Арсеньев.

– А-а! – жалобно вскрикнул в ответ Булька, сморщился и поднес руку ко рту.

– Что такое?

– Опять содрал, блин!

Арсеньев увидел, что по его маленькой грязной кисти течет кровь.

– Ой, больно, больно, – хныкал Куняев, – не могу, как больно! Врача позовите! Я ж крови боюсь, блин!

– Да что случилось? – Арсеньев нажал кнопку вызова охраны.

– У меня там рана, воспаление, давно уже, и все не заживает, – плача, объяснил Булька, – я опять нечаянно корочку содрал.

– Про портфель это любопытно, – сказала Зюзя, выслушав Арсеньева.

Они зашли перекусить в маленькое подвальное кафе неподалеку от Бутырки. Там работал мощный кондиционер. Было прохладно и почти пусто. Зинаида Ивановна с отвращениемковыряла вилкой морковный салат и косилась на тарелку Арсеньева, с которой быстро исчезали жареная картошка с грибами и огромная, сочная свиная отбивная на косточке. Зюзя вынуждена была сесть на строгую диету, уже не ради красоты, а из-за проблем со здоровьем.

– Ну да, – кивнул Арсеньев, – это, конечно, не алиби, но кое-что.

– Алиби, – грустно вздохнула Зинаида Ивановна, – разве у нас есть что-нибудь, кроме этого паршивого алиби? Мне надо дело в суд передавать, а я на нуле. Если бы мы нашли орудие убийства, если бы Куняев вспомнил, где был и что делал в тот вечер. Пусть даже не вспомнил, а придумал. Вранье тоже информация. Когда подозреваемый начинает врать, его легче вывести на чистосердечное признание. Знаешь, что меня сейчас интересует больше всего? Каким образом слабоумному Булке с его заплесневелыми от наркотиков мозгами удалось разобраться с пин-кодом и снять деньги с карточки Драконова? Если он все-таки одолел это, куда он дел деньги? Ведь за дозу он расплатился ручкой.

– Куда дел – это хороший вопрос, – произнес Арсеньев с набитым ртом, – дома у него их точно нет. Либо там какой-то совсем уж хитрый тайник. Впрочем, потратить сто семьдесят долларов не так уж сложно. А ручкой он расплатился потому, что безумно любит деньги и не захотел с ними расставаться. Что касается карточки, тоже не велика наука, особенно когда вместе с карточкой лежит бумажка, на которой крупно написан код. Рядом с «Килькой» есть уличный банкомат. Булька сто раз наблюдал, как люди снимают деньги, и мотал на ус. А вообще, Зинаида Ивановна, мы заикнулись на этом несчастном Куняеве и забыли о других версиях. Его вполне могли подставить. Лев Драконов все-таки не рядовой пенсионер, он писатель, тусовщик, болтун, не тем будь помянут. Он работал над книгой о Хавченко...

– Ой, перестань! – поморщилась Зюзя. – Ты же видел рукопись, там ничего серьезного, сплошные сопли с сахаром. – Нацелившись вилкой в тарелку Арсеньева, она быстрым движением подцепила кусок отбивной, который он только что отрезал, отправила в рот и тихо застонала от удовольствия.

– Зинаида Ивановна, давайте я вам закажу отбивную, – сочувственно предложил Саня.

– Тебе жалко для меня кусочка мяса, да?

– Мне вас жалко. Вам же хочется.

– Перехочется! Мне нельзя. Вот еще маленький кусочек у тебя украду, и картошечки. И все. Это точно, все. Надо худеть.

Жевала она долго и молча.

– Ну, хорошо, – вздохнул Саня, – допустим, книга о Хавченко это действительно не серьезно. А то, что он в последнее время работал над мемуарами какого-то генерала? Он говорил, публикация станет настоящей бомбой.

– Какой бомбой, Шура? Мало ли что он болтал в интервью? Он не называл фамилии генерала, даже не говорил, где этот генерал служит.

– Служил, – поправил Саня, – он сказал, что генерал умер. И теперь он, писатель Лев Драконов, чувствует себя обязанным довести до конца то дело, которое они вместе задумали. То есть создание книги генеральских мемуаров.

– Он только напускал таинственности для саморекламы, – Зюзя со вздохом принялась за свой морковный салат. – Мы же не нашли никаких материалов ни в его компьютере, ни в записных книжках.

– Генерал Жора, – задумчиво произнес Саня.

– Что?

– Булька сегодня рассказал, что в портфеле была пластиковая папка, а в ней рукопись. На титульном листе крупно написано: «Генерал Жора».

Зюзя перестала жевать, схватила стакан с водой и выпила его залпом.

– Что же ты молчал, Шура? Господи, нет! Зачем ты это узнал, ну зачем? Лучше бы ты молчал. Ох, я старая идиотка, карга несчастная, когда же это кончится? – она чуть не плакала и от огорчения, незаметно для себя, съела еще несколько ломтиков жареной картошки с тарелки Арсеньева.

– Зинаида Ивановна, я не понял...

– И не надо. Не надо тебе ничего понимать. Генерал Жора! Вот только этого мне перед пенсией не хватало!

– Да в чем дело, вы можете объяснить?

– Дело в том, Шура, что влипли мы с тобой на этот раз очень нехорошо и серьезно. И как теперь быть, не знаю. – Она решительно пододвинула к себе его тарелку и доела все, что там оставалось.

## Глава восьмая

Зачем тратить свинец, когда есть газ? Инженерная мысль не стоит на месте. Умерщвление может быть вполне спокойной и даже гуманной процедурой. Ради чего мучить несчастных тварей? Сортировка. Мужчины, женщины, подростки направо. Старики и дети ниже 120 сантиметров налево. Некоторые дети встают на цыпочки, когда проходят под мерной палочкой. В таких случаях помогает хлыстик. Хлоп хлыстиком по ногам: обманывать нехорошо. Во всем необходим порядок. Конвейер должен работать исправно. Малейший сбой может привести к катастрофе. Когда конвейер работает, толпа не успевает понять, что происходит. У нее не остается времени на размышления. Дети встают на цыпочки не потому, что знают, какая их ждет участь. Они просто не желают расставаться с родителями. Если бы было заранее известно, что значит черный дым из высоких труб, огромная партия вновь прибывших превратилась бы в неуправляемое стадо. При неправильной организации стадо способно смести все на своем пути, включая вооруженную охрану. Их ведь в тысячу раз больше, чем охраны. Их больше, чем пуль в автоматах. Стрельбой можно скосить только десятую часть толпы. Несмотря на истощение каждой отдельной особи, нельзя удержать такую массу одним лишь физическим усилием. Тут нужна сила духа, убежденность, ну и немного хитрости.

Состав остановился. Нормальный вокзал, с часами, с таблицей расписания поездов. Кажется, там, дальше, город, в котором можно жить. После долгих дней и ночей в тесных грязных вагонах, без еды и питья, они радуются хотя бы тому, что их привезли куда-то, что дорога кончилась и поменялись декорации. Они не замечают, что здание вокзала – всего лишь декорация, причем сделанная довольно грубо. Они не хотят этого замечать.

Толпа выгружается из вагонов, с чемоданами, тюками, с детскими горшками. Десятки тысяч живых существ не желают знать, что их привезли убивать. Они идут под музыку, со своими чемоданами, детским горшками, одеялами. Из динамика звучит классическая музыка. Она помогает создать спокойную торжественную атмосферу. Кроме того, работают специальные зондер-команды из заключенных. Они рассказывают вновь прибывшим, что их ждет. Душ. Дезинфекция. Потом сытный обед и расселение по баракам. Зондер-команды не только помогают поддерживать порядок, но берут на себя всю грязную работу. Немецкие руки не должны прикасаться к трупам и пеплу. Таким образом, лишние, неполноценные существа уничтожают сами себя. Это естественный суицид. В зондер-команды идут добровольцы, за еду, выпивку, сигареты. Четыре месяца они живут значительно лучше остальных заключенных. Потом их убивают и заменяют другими добровольцами.

Толпа голых мужчин, женщин, подростков, проходит перед дежурным врачом СС. Врач, как положено, в белом халате. От легкого движения его руки зависит дальнейшая судьба каждой отдельной особи. Врач волен отправить в печь сию минуту или подарить еще несколько недель жизни. В этом зрелище есть нечто величественное и поучительное. Все хотят понравиться божеству в белом халате. Выпрямляют спины, подтягивают животы, стараются выглядеть бодрыми и здоровыми. Так стараются, что ни о чем другом не могут думать. Не знают, что их ждет. Не желают знать. Для них главное – произвести хорошее впечатление.

Группенфюрер Штраус обязательно присутствовал при селекции и внимательно следил, как отбирается живой материал для его опытов. Его, в отличие от рядовых врачей, санитаров, охраны, не тянуло потом расслабиться, напиться до бесчувствия. Они уставали. Они действовали, как автоматы, спешили закончить, махали, не глядя: этот направо, тот налево. Группенфюрер не осуждал их, но сожалел, что они не сознают космическую значимость своей миссии, что не хватает им душевных сил насладиться ролью Бога и грандиозными картинами Страшного суда.

«К свободе ведет один путь. И его вехами являются покорность, честность, чистота, самопожертвование, порядок, дисциплина и любовь к родине». Гейни Гиммлер сам сочинил это и приказал выложить белой черепицей на крыше центрального здания концлагеря Дахау. Жена коменданта вышила слова Гейни красным шелком, готическими буквами по белой кисее, по уголкам голубые цветы, зеленые листья. Получилось очень красиво, настоящее произведение искусства. Вышивку взяли в рамку, повесили в комендантской гостиной. Жена коменданта – рукодельница, как многие немецкие женщины. Оказывается, человеческая кожа – отличный материал для творчества. Из нее получают прекрасные дамские сумочки, кошельки, абажуры. Особенно интересные изделия выходят из лоскутов с татуировками. Досадно, что дежурный врач постоянно забывает об этом. Нельзя быть таким черствым и невнимательным человеком. Вот только что отправил налево, то есть прямо в печь, высокого мужчину, тело которого расписано весьма оригинально. Настоящие цветные картины на спине и на груди. Розы, львиные головы, рыцарский герб. Недавно мужчина был толстым, кожа висит крупными складками, ее много.

Отто Штраус вмешался. Всего лишь легкое прикосновение перчаткой, кивок головы. Мужчина вздрагивает, растерянно озирается, хлопает глазами. Его ставят в отдельную колонну, к самым здоровым, отборным особям, к мужчинам и женщинам, которых отправят в больничный корпус. С ними предстоит работать ученым: врачам, физиологам, психологам. Серьезная научная работа под руководством Отто Штрауса прямо-таки кипит здесь, в этом чистилище. Столько проводится интереснейших экспериментов! В мирное время такое невозможно, из-за опасности и отсутствия добровольцев. Настоящий ученый, врач, физиолог, не может ограничивать свои исследования только работой с морскими свинками и обезьянами. Чтобы узнать физиологию человека, следует изучать человека, а не мышь и лягушку.

Кстати, эту расписную особь тоже можно сначала использовать для экспериментов. Он здоровей, чем кажется. Глаза его блестят, на щеках играет румянец. Он счастлив сейчас. Он чувствует себя избранным. А у жены коменданта фрау Линды день рождения только через месяц. Как раз подоспеет оригинальный подарок.

Сегодня хороший день. Ни одного сбоя. Обидно, что дежурный врач так невнимателен, то и дело поглядывает на часы и вот допустил еще одну небрежность. Отправил направо женщину, которой прямая дорога налево. Она не сумеет работать ни одного дня. Она ходячий скелет. Только что она умудрилась чем-то поранить себе палец, смазала кровью губы и щеки, чтобы выглядеть лучше. Никто не заметил, кроме Штрауса. Он, хоть и был занят татуированным мужчиной, а бдительности не терял. Опять прикосновение перчаткой, легкий кивок. Но женщина как будто окаменела, не понимает, не слушается, кричит, упала на пол. Как это неприятно... Неприятно ноет рука, странный зуд в ямке между пальцами. Неужели подцепил чесотку? Нет, не может быть. Отто Штраус – сама чистоплотность.

Женщину между тем поставили, куда следует. Она успокоилась и затихла. Ничего не произошло. Но зуд и досада остались. Группенфюрер вышел на улицу, снял перчатки, взглянул на часы, автоматически отметив про себя, что уже полночь. Все три стрелки, включая секундную, на двенадцати. Он закурил. В свете прожектора тускло сверкнул перстень. Кожа под ним и вокруг покраснела. Фаланга припухла. Постепенно генерал перестал чувствовать всю свою правую кисть, как будто отлежал ее. Сигарета выпала. Штраус попытался шевельнуть пальцами, – и не смог. Рука не слушалась. От кисти к плечу пробежала быстрая тревожная пульсация. Он обнаружил, что дрожит всем телом, рубашка под кителем взмокла, словно температура у него поднялась до сорока градусов. Но это была не лихорадка. Что-то совсем другое. Генерал не узнавал и не понимал самого себя. Ему хотелось биться лбом о каменную стену. Аккуратный, привычный пейзаж лагеря исчез, погасли прожектора, растаяли ровные прямоугольники барачных вышки и ряды колючей проволоки потерялись во мраке, словно были тоньше паутины. Стало тихо, темно и страшно. Время остановилось. Он не знал, дышит ли,

бьется ли сердце. Если это инфаркт, или кровоизлияние в мозг, или что-то еще, внезапное, неотвратимое, он должен чувствовать боль. Но ее не было. Легкое жжение там, где надет перстень, оставалось единственным подтверждением, что он жив.

Сколько это длилось, неизвестно. Ему казалось – чудовищно долго. Час, два, не меньше. Но наконец прошло.

Отто Штраус взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что секундная стрелка не сдвинулась ни на миллиметр. Все еще полночь. Абсолютный ноль, растянутый до бесконечности.

Василиса открыла глаза, увидела кресты и пирамидки деревенского кладбища, услышала истеричное карканье одинокой вороны и далекие раскаты грома. Вспыхнула молния, на мгновение стало совсем светло. Она поняла, что жива, что ошла, пусть не до деревни, но хотя бы до кладбища. Каркает ворона, гремит гром. Начинается гроза, воздух стал чище. Галлюцинации, вызванные угарным газом, сейчас закончатся. Рано или поздно кто-нибудь ее здесь подберет. Все.

«Я поплю капельку».

\* \* \*

У Рики был высокий резкий голос. Читая первую главу своего романа «Фальшивый заяц», он нервничал, покашливал, иногда завывал. В небольшом зале стояла сонная, но вполне уважительная тишина. Слушателей собралось около дюжины, включая Рейча, Григорьева и седую даму в очках, ту, что приглашала Андрея Евгеньевича на лекцию «Эротическое садоводство».

В романе речь шла о подростке, который мечтает вырваться из серых будней провинциального городка и найти себя. У него строгая мать, тупые учителя, у него нет друзей, он одинок и несчастен. Вокруг все пьют пиво, едят сосиски. Юноша задыхается в мире пошлости, бездуховности и видит во сне Венецию. Наяву его грязно соблазняет официантка из придорожной закусочной. Далее следует бесконечное, чрезвычайно подробное описание процесса потери невинности. Официантка именуется «Майне гроссе эротишен фюрер».

Слушатели сохраняли внимание. Ни улыбки, ни вздоха, ни покашливания. Это были в основном пожилые, солидные люди. Каждый в прошлом имел какое-то отношение к авангардному искусству, к богеме. Каждый запечатлел в своем облике нечто знаковое из времен своей легкомысленной юности. У стариков длинные волосы, у старух, наоборот, совсем короткие ежики. Обилие крупных серебряных украшений на шеях и запястьях. Рядом с Григорьевым сидела дама лет шестидесяти в лохматой кофточке ядовито-зеленого цвета, с точно такими же волосами. Она клевала носом и просыпалась, когда Рики повышал голос.

Генрих Рейч слушал своего детку, затаив дыхание. В начале чтения детка произнес: «Глава первая». Прошло двадцать минут, полчаса, но первая глава все не заканчивалась. Григорьев стал опасаться, что роман «Фальшивый заяц» целиком состоит из первой главы, и она будет прочитана до конца. Судя по толщине книги, это могло затянуться больше чем на сутки. Чтобы не заснуть, он наблюдал за Рейчем и проверял свою память, пытался восстановить некоторые детали биографии несчастного влюбленного старика.

Генрих Рейч был завербован «Штази» в начале шестидесятых и действовал внутри молодежных группировок как провокатор. С его помощью руками террористов устранили нескольких ученых и журналистов, которым удалось перебраться из ГДР на Запад, через Берлинскую стену. Это выглядело как случайность, любой ведь может оказаться в эпицентре взрыва. Кроме того, ему удавалось при помощи тех же террористов сшибать с постов высокопоставленных сотрудников западногерманской контрразведки и бундесвера. После очередного теракта фаб-

риковалась информация, из которой следовало, что офицер или чиновник знал о готовящейся акции, но не предотвратил ее.

В семидесятых он работал криминальным репортером, сотрудничал с немецкими газетами правого толка, стал уже не двойным, а тройным агентом, продолжая сотрудничать со «Штази», для полиции Западной Германии выполнял функции секретного агента, внедренного в молодежные террористические группировки.

В 79-м попал в Пакистан в качестве журналиста, три года крутился в Пешаваре, обрастал знакомствами, часто выполнял роль переводчика, поскольку кроме родного немецкого, свободно владел английским, арабским и русским.

В 82-м перебрался в США, забросил журналистику и стал художником авангардистом, но продолжал зарабатывать деньги на политическом и уголовном сводничестве, на провокациях, на торговле убийцами международного масштаба.

Григорьев познакомился с ним в Вашингтоне, в начале 80-х. Андрей Евгеньевич тогда служил в советском посольстве, официально числился «чистым» дипломатом, первым заместителем пресс-атташе, на самом деле являлся помощником резидента по работе со средствами массовой информации и активно общался с авангардной богемой. Изначально знакомство с господином Рейчем было санкционировано его руководителем, тогдашним резидентом КГБ в Вашингтоне Всеволодом Сергеевичем Кумариным. Точкой соприкосновения стала история мистических учений и тайных обществ. Господин Рейч увлекался этим многие годы, мог часами говорить об алхимии, масонстве, об Ордене Тамплиеров и Ордене Золотых Розенкрейцеров. Григорьев представился ему историком, русским эмигрантом во втором поколении, гражданином США.

Генрих Рейч многие годы торговал информацией о финансовых потоках и контактах между террористическими группировками разных стран. У него были связи с Ирландской республиканской армией, с испанскими басками, с немецкими неофашистами, с мусульманскими экстремистами. Ему приходилось играть роль посредника в переговорах, он умел спрятать какого-нибудь международного монстра, а потом аккуратно сдать его спецслужбам. Или не сдать, тоже аккуратно. Сам он никогда ни в кого не стрелял, ничего не взрывал.

Однажды Григорьеву удалось оказать художнику-авантюристу большую услугу, практически спасти ему жизнь. К Рейчу попала информация об одном известном международном террористе, которого разыскивал Интерпол. Официальные власти предлагали приличное вознаграждение за любые сведения о нем. Но еще более приличное вознаграждение предлагало анонимное частное лицо, заинтересованное в поимке злодея. Рейч колебался. По некоторым косвенным, осторожным вопросам Григорьев разгадал суть его сомнений и намекнул, что заманчивое предложение частного лица может оказаться ловушкой. Довольно скоро выяснилось, что он был прав. В ловушку угодил офицер полиции Испании. Автором объявления был сам террорист. Он таким образом выявлял предателей из числа купленных им чиновников и силовиков разных стран.

Труп испанского полицейского обнаружили в багажнике машины его непосредственного начальника. Был громкий международный скандал. Под шумок Рейч быстро сдал террориста Интерполу, получил хорошие деньги и, главное, обрел душевное спокойствие на некоторое время.

– Я ваш должник, – сказал он Григорьеву при встрече, – как мне вас отблагодарить?

– Не беспокойтесь, – ответил Григорьев, – я просто подумал и дал вам совет. Это бесплатно.

В Америке Рейч прожил семь лет. В начале 90-х вернулся в свой родной Франкфурт, открыл литературное агентство и маленький антикварный магазин.

Это было забавное заведение. Там продавался антиквариат времен нацизма и Второй мировой войны: ордена, мундиры, каски, флаги, пуговицы, открытки, фотографии, книги, пластинки с маршами, бритвенные приборы, портсигары, наручные часы и прочие предметы, принадлежавшие как известным фашистским бонзам, так и простым офицерам и солдатам Третьего рейха. Там можно было приобрести всякие символические штуки, сделанные в наше время. В основном значки, перстни, медальоны и прочие украшения со свастикой, мертвой головой, имперским орлом. Имелся также особый отдел магических талисманов из Африки и Юго-Восточной Азии. Амулеты из рыбьих костей и лягушачьих шкурок, бубны, пучки перьев, колокольчики, камушки, глиняные фигурки с кошмарными рожами и гигантскими фаллосами, бусы из птичьих коготков.

Литературное агентство и магазин почти не приносили дохода. Впрочем, Рейч был состоятельным человеком и торговал больше для удовольствия, чем ради прибыли.

С Григорьевым они иногда общались по электронной почте, вполне открыто и бескорыстно, как два старых интеллектуала, которым приятно поделиться друг с другом впечатлениями о литературных новинках, художественных выставках, фильмах, и так далее.

«Майне гроссе эротишен фюрер» продолжала насиловать нежного юношу уже десятую страницу подряд, с небольшими перерывами на пиво, сосиски и сны о Венеции. Потом подросток вдруг взял и откусил ей ухо. Сжевал, выплюнув сережку, как вишневую косточку. «Эротишен фюрер» не обиделась, но и в долгу не осталась. Откусила подростку нос. С аппетитом обсосала хрящик. Дальше дело пошло еще энергичней. Он отрезал и положил на решетку гриля ее грудь и филейные части. Она, весело смеясь и причмокивая, сделала тоже самое с его фаллосом, который, поджариваясь, лопнул вдоль и пустил сок, как свиная сарделька.

Григорьев иногда косился на слушателей. На их лицах было все то же спокойное уважительное внимание. Наконец от героев остались только скелеты. Они принялись прыгать, размахивая электрическими ножами, полетели по воздуху над спящим городком. Григорьев решил, что последует продолжение пиршества, любовники сожрут всех грубых бургеров и несправедливых учителей, но нет. Выяснилось, что небо над ними представляет собой гигантский компьютерный экран. Они нырнули туда, разбив стекло, и там стали обрастать виртуальной плотью. Буквы бесчисленных текстов на разных языках становились клетками их организмов. Когда процесс восстановления закончился, герои вынырнули из компьютера в комнате подростка, как новенькие, в компании нескольких десятков своих клонов.

Рики закрыл книгу, облизнул губы, выпил воды, обвел зал туманным взглядом. Публика похлопала. Зеленая дама рядом с Григорьевым окончательно проснулась и потянула вверх руку, как школьница на уроке.

– Да, я вас слушаю, – кивнул ей Рики.

– Мне очень понравился ваш роман «Фальшивый заяц», господин Мольтке, – произнесла дама глубоким оперным басом. – Но у меня к вам вопрос. Скажите, при чем здесь заяц и почему «фальшивый»?

Рики слегка нахмурился. И тут же растаяла счастливая улыбка Рейча. Его старая морщинистая физиономия зеркально отражала все оттенки чувств, которые читались на нежном личике Рики.

«Может быть, мальчик Рики пишет эту чушь от обиды, что не родился девочкой? – подумал Григорьев. – Почему он не родился девочкой, лет на двадцать раньше? Они бы встретились с Генрихом, и получилась бы идеальная семейная пара. Рики не писал бы своих сублематических романов. Возможно, они с Рейчем были бы по-настоящему счастливы вместе, что случается с людьми редко, или не случается вообще...»

– «Фальшивый заяц» – это глубокая аллегория, – стал терпеливо объяснять Рики, – мой герой всего боялся: других людей, самого себя, пространства и времени. Он дрожал, как заяц.

Но страх лишь иллюзорное состояние его внутреннего «я», зыбкая субстанция, оставшаяся внутри индивида от его прошлой, человеческой природы, от коллективной ментальности христианства. Герой побеждает свой страх, находит свое новое «я» в симбиозе с другим, нечеловеческим, надчеловеческим началом, с ментальностью будущего, которая видится мне где-то на стыке генной инженерии, мультимедийных технологий и наркотических миров. Вы понимаете?

Дама важно кивнула. Больше вопросов не возникло. Автора еще раз поблагодарили, преподнесли скромный букетик белых гвоздик, взяли пару автографов.

– Вы тоже хотели, – прошептал Рейч и сунул Григорьеву книжку, – подойдите к нему, и не забудьте: вы русский аристократ, князь. У вас, кстати, есть деньги?

– Конечно, – Григорьев содрал с книжки целлофановую обертку, – а что, у вас проблемы с наличностью?

– У меня вытащили бумажник. Я обнаружил это пять минут назад.

– Неужели здесь? – удивился Григорьев.

– Нет. Мы сегодня днем гуляли по старому центру, слушали уличных музыкантов, крутились в толпе.

Он шептал Григорьеву на ухо по-английски и увлекал его за локоть к маленькому столику, за которым сидел Рики, готовый дать очередной автограф.

– Беда, – успел прошептать в ответ Григорьев, – вы обещали мальчику икру. Но я вас выручу, так и быть. Я приглашу вас в ресторан и угощу икрой, как это принято у нас, русских аристократов.

– Да, да, – благодарно улыбнулся Рейч, – а потом мы поговорим о писателе Льве Драконове и мемуарах генерала Колпакова. Вы ведь за этим явились, верно?

## Глава девятая

Маша выехала из Москвы сразу после разговора с Рязанцевым. Она не любила опаздывать, опасалась знаменитых московских пробок. На этот раз ей выдали в посольстве маленький старый «Форд», черно-серый, как кладбищенская ворона. Машина резко выделялась на фоне нарядных дорогих автомобилей, заполонивших улицы, особенно в центре. Но двигатель был мощный и работал исправно.

До дачного поселка ей удалось доехать всего за сорок минут. В пробках она не стояла, дорогу помнила отлично. Только оказавшись у ворот, она спохватилась, что явилась на час раньше. Оставалось погудеть, чтобы открыли, и позвонить Рязанцеву, предупредить, что она уже здесь.

«Приезжать раньше еще хуже, чем опаздывать, – думала она, слушая сигналы своего „Форда“ и протяжные гудки в телефонной трубке, – здесь, похоже, сонное царство. Охрана дрыхнет. Их светлость отвечать не желают. Интересно, кто проснется первым?»

Проснулся Рязанцев. То есть он вовсе не спал. Его голос прозвучал в трубке так резко и раздраженно, что у Маши зачесалось ухо.

- Извините, Евгений Николаевич, я приехала почти на час раньше, не рассчитала время.
- Не страшно. Где же вы?
- У ворот.
- Так въезжайте. В чем дело?
- Я бы с удовольствием. Не пускают.
- Что за бред! Они там оглохли?
- Скорее, заснули.
- Ладно, сейчас разберусь.

Пока он разбирался, Маша отъехала от ворот, припарковалась у обочины, вышла из машины. Воздух был, конечно, чище, чем в городе, но молчали птицы, от земли исходил горячий, какой-то прачечный пар. Маша потянулась, разминая суставы, щелкнула заколкой, распустила волосы. Два года назад у нее была стрижка «тифози», совсем короткая, делавшая ее похожей на лопухого мальчика с тонкой шейкой. Сейчас волосы отросли до плеч. Она выглядела вполне женственно. На ней было легкое светлое платье без рукавов, белые открытые босоножки на тонких каблуках.

Над воротами она заметила глазок видеокamеры и почувствовала чужой взгляд. Кто-то наблюдал за ней, то ли из дома, то ли из охранной будки. Она стала подозревать, что ворота так долго не открывают вовсе не из-за общей вялости и сонности, которая разлита в воздухе. Кто-то ее здесь совсем не ждал и не хочет видеть. Впрочем, она отлично знала, кто. Начальник охраны Егорыч. Он был тесно связан с Хавченко, активно кормился за счет американских денег, которые воровал руководитель партийного пресс-центра. Но, кроме того, его вполне устраивала ситуация, когда Галина Дмитриевна Рязанцева находилась в закрытой психиатрической лечебнице. Он владел горячей, скандальной семейной тайной и мог свободно манипулировать Евгением Николаевичем. Сейчас никаких особенных тайн не существовало. Муж и жена жили вместе. Врачи признали Рязанцеву здоровой. А что касается политических и шпионских секретов – Егорыч сам зависел от денег ЦРУ и был прочно впаян в этот узел. Это его бесило. Свое бешенство он, вероятно, решил излить на Мери Григ.

По детской привычке она загадала: если первым человеком, которого она здесь увидит, окажется Егорыч, значит, с самого начала дело пойдет плохо. Но если впустит ее кто-то другой, ей повезет, все будет хорошо. Она нарочно отвернулась от ворот, от камеры, и стала смотреть на березовую рощу. Стволы казались дымчато-голубыми, в кронах сквозила осенняя желтизна. Маше захотелось скинуть босоножки, пройти пешком сквозь рощу, до деревни Язвищи,

увидеть старый дом, который сначала был барской усадьбой, потом детской лесной школой, наконец, стал закрытой психиатрической лечебницей. Она даже почувствовала горячую пыль тропинки и сухую щекотку первых опавших листьев под босыми ступнями, перед глазами серебристо мелькнули некрашенные доски деревенских заборов, дальше возникло поле, и, наконец, качнула ветками старая одинокая яблоня, которая когда-то спасла ей жизнь.

Маша так увлеклась этим мгновенным, воображаемым путешествием, что не услышала, как поехали в стороны створки ворот у нее за спиной.

– Машенька, здравствуйте! – голос прозвучал совсем близко. Она обернулась. Перед ней стояла Галина Дмитриевна. Из всех обитателей дома это был, пожалуй, единственный человек, который искренне обрадовался ее приезду.

Они расцеловались. Рязанцева казалась ниже ростом, голову ее туго обтягивал синий в крапинку старушечий платок, ситцевая темная юбка доходила до щиколоток и висела мешком. От нее пахло мылом, утюгом и ладаном.

– А я смотрю, вы или не вы? Я же помню вас стриженной и всегда в брючках. Знаете, так вам больше идет, – она вдруг замолчала, резко развернулась на глазок камеры, нахмурилась, но тут же опять посмотрела на Машу и улыбнулась. – Это ваш автомобиль? Какая мрачная расцветка. На ворону похож. Загоняйте его и пойдемте скорей в дом, там прохладней. А вот и Евгений Николаевич.

Фигура партийного лидера четко нарисовалась между створками гаражных ворот. Он шел спиной к солнцу, и не было видно, какое у него выражение лица.

– Ты уже открыла? Вот и хорошо. Добрый день, Мери Григ. Рад вас видеть. Галя, попроси, чтобы там приготовили что-нибудь холодное попить.

Галина Дмитриевна кивнула и заспешила к дому, не оглядываясь. Рязанцев дождался, пока Маша вкатит свой черно-серый «Форд», нажал на кнопку пульта, закрывая ворота.

До дома они шли молча. Маша искоса взглядывала на заострившийся профиль Рязанцева. Он постарел, полысел, стал сутулиться. Из широких коротких рукавов белоснежной тенниски торчали руки, уже не мужские, а стариковские, в седом пухе и бежевых пигментных пятнах.

«Ему ведь не так много лет, – подумала Маша, – он не пьет, следит за здоровьем, правильно питается, а выглядит старше моего отца».

– Как вам Москва? – вежливо поинтересовался он, когда они поднялись на крыльцо веранды.

– Жарко, тихо, – улыбнулась Маша, – правда, уже сегодня утром у меня было небольшое приключение.

Она рассказала о транспаранте на Краснопресненском бульваре и, пока говорила, заметила еще одну неприятную перемену в Рязанцеве. Он совершенно разучился слушать. Он бессмысленно шарил глазами по бревенчатым стенам, теребил застежку часов, наконец резко крикнул:

– Галя!

Вошла Галина Дмитриевна, в руках у нее был поднос со стаканами и кувшином.

– Вот, Машенька, морс клюквенный, домашний.

– Галя, почему так долго? Егорыч здесь, не знаешь? – отрывисто спросил Рязанцев.

– Я его не видела.

– Так поищи, выясни, уехал он или остался.

– Наверное, остался. Машина здесь.

Галина Дмитриевна разлила морс по стаканам и быстро вышла.

– Вы видите, какая она стала? – прошептал Евгений Николаевич. – Не вылезает из деревенской церкви, не снимает своего идиотского платка. Развернется предвыборная кампания, надо будет пустить сюда телевидение, потребуются семейные сюжеты, а тут этот ее платок,

постная физиономия. Да она вообще откажется сниматься, заявит, что все это грех, бесовство. Знаете, мне все чаще приходит в голову, насколько было лучше и спокойней, когда она...

– Перестаньте, Евгений Николаевич. С ней сейчас все нормально. Лучше скажите, почему вы так напрягаетесь из-за Егорыча? Что-нибудь случилось?

– Как будто вы не знаете. Убили Хавченко. Потом этого писателя, как его? Ну, который писал биографию Хача, – Рязанцев поморщился и защелкал пальцами. – Сказочная такая фамилия... Ладно, не важно, вы знаете, о ком я говорю. С тех пор Егорыч ведет себя неадекватно. Он стал хамить.

– Погодите. Писатель Лев Драконов? – удивленно уточнила Маша. – Разве ваш Егорыч был с ним знаком?

– Понятия не имею. Только знаю, что с ним на эту тему беседовала милиция. Кстати, ваш хороший приятель, тот майор, помните?

– Арсеньев? – Маша удивилась еще больше или сделала вид, что удивилась. Во всяком случае, слегка покраснела. Правда, Евгений Николаевич этого совершенно не заметил, он продолжал раздраженно жаловаться на начальника охраны.

– Полкан, холуй, пытается навязывать мне свою волю. Разговаривает со мной, как на допросе. Беспредельно хамит. И вообще, он нас сейчас наверняка слушает.

Маша как будто пропустила мимо ушей последнюю фразу и нарочито небрежно спросила:

– Хамит? Странно. Неужели он не боится, что вы просто откажетесь от его услуг? Ведь в конечном счете не вы от него зависите, а он от вас. Найдется немало желающих занять его место.

– Ох, Маша, это легко сказать. Я трудно привыкаю к новым людям, я вообще с возрастом все тяжелей переживаю всякие перемены, даже мелкие. Когда в моей жизни что-то меняется, у меня такое чувство, словно я потерялся в незнакомом городе, не знаю, куда идти, все чужое. А стоит освоиться, привыкнуть, и сразу скучно.

«Да, скучно, – вздохнула про себя Маша, – это, пожалуй, главная проблема. Он не может ни на чем сосредоточиться, кроме собственной тупой усталости. Конечно, в таком состоянии он провалится. Его просто не станут слушать, рядом с ним даже воздух киснет, как молоко».

– Эти два года состарили меня лет на двадцать. Я все время задаю себе один и тот же вопрос: «зачем?». Утром просыпаюсь и думаю: зачем начинать день? Что он мне даст? У меня нет ни настоящих врагов, ни друзей. Вот, допустим, ситуация с Егорычем. Он наглеет и хамит потому, что я его распустил, и ему на меня плевать. У него нет злого умысла. Но мне от этого еще гаже. Нет умысла, значит, обо мне вообще не помыслили, не подумали, пусть даже со злобой. Мною просто пренебрегли. Меня не заметили. Что может быть ужаснее?

Маша слушала, и ей казалось, что не было никакого двухлетнего перерыва. Все продолжается. В принципе, рядом с Рязанцевым должен постоянно находиться его личный психотерапевт. У него колоссальная потребность изливать на кого-то поток своих душевных шлаков. Она говорила об этом Хогану и Макмерфи еще тогда, два года назад. Рязанцеву нужна нянька, не важно, кто возьмет на себя эту роль: врач, друг, любовница. Конечно, в идеале – жена, но с женой опять проблемы. Они не понимают друг друга, ее образ жизни вызывает у него глухой протест, тоску и отвращение. На самом деле все просто. Рязанцев безнадежно одинокий человек. Был бы он окончательным, однозначным фанатиком, которому ничего, кроме власти, не нужно, не страдал бы так. Но в нем слишком много намешано. Жажда руководить, командовать, возвышаться над толпой, – и простое естественное желание быть любимым, уткнуться носом в чье-то теплое плечо. Это вещи несовместные, как злодейство и гений. Вот он и мучается, хнычет, теперь уже не по-детски, а по стариковски.

– Евгений Николаевич, вы хотите участвовать в кампании? Вы чувствуете в себе силы возглавить объединенную оппозицию? – спросила Маша, прервав поток его унылых откровений.

Он застыл, словно она только что вылила на него ведро ледяной воды. Уставился на нее удивленно и гневно. Она улыбнулась ему.

– Хотите. Вижу, что хотите. Вот давайте об этом и поговорим. Но только не здесь. Предлагаю выйти и погулять немного.

\* \* \*

Чистокровный русский князь, попросивший автограф, и перспектива полакомиться икрой, смягчили сердце Рики. Из клуба они с Рейчем вышли, держась за руки. В такси, на заднем сиденье, целовались. Григорьев сидел впереди, рядом с шофером, и старался не попадать взглядом в зеркало заднего вида.

Самый большой выбор икры был в новом русском ресторане «Кремль». В отличие от прочих русских ресторанов, этот обошелся без павло-посадских платков, матрешек и балалаек. Хозяин был немец из бывшей ГДР, русских корней не имел, языка не знал. Он оформил свое заведение в стиле сталинского ампира. Гипсовые колонны, золоченые колосья, серпы и молоты, скульптуры рабочих и колхозниц вдоль стен, хрустальные люстры и плафоны, расписанные как в московском метро.

– Вам должно здесь нравиться, – ободрил Григорьева Рейч, – нечто неопределенно ностальгическое. После развала Советского Союза и воссоединения Германии русские и немцы чувствуют себя почти родственниками. Во всяком случае, здесь многие стали увлекаться Россией, причем именно ее тоталитарным прошлым.

– Обожаю имперскую стилистику! – сообщил Рики. – Есть в этом величие, душевное здоровье, это вам не утонченный модерн начала века, это мощь мировых гигантов, мускулы, жесткость, определенность. Люди будущего, люди-клоны, будут жить в таких интерьерях.

Народу оказалось совсем мало. Ресторан был дорогим, помпезным, и большая часть столиков оставалась свободной, даже когда все окрестные заведения забивались посетителями до отказа.

– Мне только икры, – скромно сообщил Рики, – немного красной, немного черной. Можно еще ржаных тостов и полусладкого шампанского.

Рейч заказал себе осетрину по-монастырски, Григорьев – цыпленка-табака.

– Вы во второй раз меня выручаете, – произнес Рейч тихо и серьезно, когда Рики удалился в туалет. – Двадцать лет назад, в Вашингтоне, и сейчас – здесь. Спасибо.

– На здоровье, – улыбнулся Григорьев и подумал: «Дурак ты, Генрих. Двадцать лет назад в Вашингтоне я спас тебе жизнь. А сейчас всего лишь заплачу за икру. Неужели для тебя это равноценные события?»

– Тогда вы ничего не потребовали взамен. И все эти годы я чувствовал себя вашим должником, – задумчиво продолжал Рейч. – Итак, вас интересует Лев Драконов?

– Мг-м, – промычал Григорьев, пытаясь вспомнить, кто это.

В глубине зала показалась тонкая фигура Рики. Он снял резинку с хвоста, распущенные волосы красиво взлетали при ходьбе.

– Знаете, я всю жизнь держал себя в жесточайшей узде. Как говорят русские, в ежовых рукавицах, – произнес Рейч, нежно поедая взглядом своего Рики, – я сидел на голодной диете, обливался ледяной водой, бегал каждое утро, в любую погоду, на сорокоградусной жаре, иногда даже под пулями. Я ни с кем не дружил, никого не любил, никому не верил. Любая человеческая привязанность казалась мне ловушкой. Я изучал зло, собирал коллекцию зла. Наверное, я подсознательно хотел доказать себе, что ничего другого нет ни в человеке, ни вокруг него. У

меня было две цели: выжить и разбогатеть. Кажется, удалось и то и другое. После шестидесяти мне стало скучно. Если бы я не встретил Рики, наверное, сошел бы с ума, спился, скололся. Мальчик спас меня. С ним я расслабился. Вы не представляете, какое счастье иметь рядом человека, от которого у тебя нет секретов. Мы как единый организм. У нас все общее, даже банковские счета.

Генрих произнес этот монолог на хорошем русском языке, очень выразительно, и прослезился. Рики сел за стол и мимоходом погладил своего друга по лысине.

– Какой все-таки странный язык, – задумчиво заметил Рики, – жаль, я им не владею.

Принесли напитки.

– Когда чокаются, надо обязательно смотреть в глаза, – сказал Рики и пригубил шампанское. Несколько пузырьков вспыхнуло и лопнуло на его розовых губах.

– Лев все никак не мог освоить Интернет, не пользовался электронной почтой. В итоге у меня нет ни одной страницы текста. Хорошо, что я не успел получить для него аванс, – сообщил Генрих, уже по-английски, – пришлось бы возвращать деньги, это всегда неприятно.

– Ты о Драконове? – спросил Рики.

– О ком же еще? – Рейч вздохнул. – Так было заманчиво продать мемуары Колпакова! Сразу четыре издательства захотели купить права, готовы были заплатить очень приличные деньги. Все ждали бестселлера.

– Да, эта книга обречена была стать бестселлером, независимо оттого, как она написана, – заметил Рики с грустной усмешкой.

– Обидно, что в итоге она не написана, – добавил Рейч.

Григорьев слушал, не перебивая, не задавая вопросов. Он вспомнил, что писатель Лев Драконов был как-то связан с покойным бандитом Хавченко, который возглавлял пресс-службу партии «Свобода выбора». Но про мемуары генерала Колпакова он слышал впервые. Если они правда существуют, это должно очень заинтересовать многих, в том числе Кумарина и Макмерфи. Может быть, именно из-за мемуаров Кумарин просил передать Генриху привет от покойника генерала?

Принесли икру в хрустальных вазочках.

– Рики, сделать тебе бутерброд? – спросил Рейч.

Юноша помотал головой и принялся есть ложкой.

– Разумеется, всех волнует не столько сам генерал, сколько его деньги, – продолжал Рейч, – понятно, что в мемуарах вряд ли раскрылась бы тайна банковских вкладов. Но информация о том, как генералу Жоре удалось умыкнуть такие колоссальные суммы из-под носа своих бдительных коллег, это, конечно, эксклюзив.

– Он был урод, – сказал Рики и облизнулся, – жирный, грубый, неинтересный человек. Но у него очень приятный племянник. Вы, князь, наверняка слышали о нем. Владимир Приз. Он сейчас чуть ли не самая популярная личность в России.

Григорьев едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Слово «князь» было произнесено с особенной интонацией и сопровождалось таким томным взором, что Рейч мог заревновать.

– Актер? – спросил Андрей Евгеньевич равнодушно. – Да, я пару раз видел его по российскому телевидению. Вы с ним хорошо знакомы?

– Когда он приезжал во Франкфурт, мы с ним сидели в этом же ресторане, за этим же столиком, и ели икру, – сказал Рики.

Рейч слегка помрачнел.

– Меня очень привлекает Россия, – сообщил Рики, – в ее ментальности есть нечто экзистенциальное. А вы давно навещали свою бывшую родину, князь?

– Очень давно. Я там не был больше четверти века.

– Обязательно поезжайте. Но не сейчас. Лет через пять, когда Приз станет президентом, – посоветовал Рики и отправил в рот очередную ложку икры.

- У него есть шансы? – серьезно поинтересовался Григорьев.
- У него есть обаяние, – сказал Рики, – просто убийственное мужское обаяние.
- Ну, этого не достаточно.

– Там много всего, – подал голос Рейч, – наглость, популярность, бешеная энергия, но главное, там дядины деньги.

– Деньги – не главное, – возразил Рики, – Владимир такой мощный, мужественный, но при этом нежный. Он похож на древнего викинга. С ним удивительно легко общаться. Он ведет себя просто и естественно в любых ситуациях. Я уверен, он станет президентом. России нужен именно такой правитель. Я счастлив, что познакомился с ним. Конечно, благодаря тебе, Генрих.

Подали горячее. Пока официант расставлял тарелки, все молчали. Андрей Евгеньевич заметил, что настроение Рейча сильно переменялось. Он занервничал. Возможно, Рики слишком восторженно отзывался об актере Призе и дело было в ревности.

– Он что, интересовался мемуарами своего дяди? – спросил Григорьев, когда удалился официант.

– Нет, ну что вы! Он не знал о мемуарах, – поспешно ответил Рики. Он почти выкрикнул это и энергично помотал головой.

– Странно. Родной племянник не знал о мемуарах своего легендарного дяди? – удивился Григорьев.

– Мы все держали в строжайшей тайне. К тому же у Владимира Приза слишком напряженная, бурная жизнь, – сообщил Рики уже спокойно и собрал корочкой остатки черной икры.

– Да, мне тоже это показалось странным, – признался Рейч. – Драконов успел дать полдюжины интервью русской прессе. Правда, он не называл имени генерала, но все равно в итоге какой-то наркоман ударил его по голове дубиной в подъезде. Возможно, это случайность, простое совпадение. Но я бы на месте российских правоохранительных органов поставил господина Приза в первый ряд подозреваемых. Мы, конечно, ничего ему о Драконове не говорили, но узнать он мог, откуда угодно. И ему вряд ли бы это понравилось.

– Почему? – спросил Григорьев.

– Потому что теоретически там могла бы содержаться косвенная информация о деньгах. Это во-первых. А во-вторых, Драконов еврей.

– Он что, антисемит, этот актер? – слегка удивился Григорьев.

– Не то слово! Он расист, нацист. Забавно, да? Он состоит в самой демократической из российских партий, в «Свободе выбора», произносит речи о всеобщем равенстве, братстве, гуманизме, сострадании, любви. И уже является там вторым лицом после Евгения Рязанцева.

«Это действительно забавно, впрочем, Рейч может преувеличивать. Он заиклен на теме нацизма», – подумал Григорьев.

Они беседовали в основном по-русски, только иногда Генрих переходил на немецкий, и тогда в разговор вступал Рики.

– Жаль Драконова, – вздохнул Рики, – писатель он был бездарный, но все равно жаль. Нет-нет, вы не думайте, Владимир здесь ни при чем! Даже если бы он знал о мемуарах, ему это безразлично. Мало ли какие выходят книжки? Ему читать некогда. Вот если бы перевели на русский мой роман, он непременно бы прочитал. Непременно.

– Он интересовался вашим творчеством, Рики? – улыбнулся Григорьев.

– Он интересовался моей коллекцией, – сообщил Генрих по-русски, совсем уж мрачно.

– Фотографиями? – небрежно уточнил Григорьев.

– Он купил у меня один из самых ценных экспонатов, – сказал Рейч и ковырнул вилкой осетрину.

– Любопытно, что именно?

Рейч аккуратно соскреб слой соуса, отправил в рот маленький кусочек рыбы, хлебнул воды и спросил:

– Вам что-нибудь говорит имя Отто Штраус?

– Личный врач Гимmlера? Один из тех, кто проводил зверские эксперименты над людьми в концлагерях и был в Нюрнберге приговорен к повешенью?

– Да, вы неплохо знаете историю, – кивнул Рейч и странно, отрешенно улыбнулся. – Владимир Приз купил у меня платиновый перстень Отто Штрауса. Купил, и сразу надел на мизинец. Теперь носит, не снимая.

## Глава десятая

Над деревней Кисловка Московской области набухла туча, не сгусток дыма, а настоящая туча, толстая, тяжелая, грозовая. Ждали хорошего ливня, но воздух оставался сухим и шершавым. Туча висела, а дождя все не было, только иногда на востоке, над кромкой леса, вспыхивали оранжевые зарницы, от раскатов далекого грома пугалась и вздрагивала скотина. День был темным, как ночь. На электростанции случилась авария, в окошках мерцали слабые огоньки свечек и керосинок.

Кузина Анастасия Игнатъевна работала фельдшерницей в медпункте при агрокомплексе. Ей было пятьдесят лет. Она жила одна, изба ее стояла на самом краю Кисловки. Дальше начиналось открытое поле, разрезанное на две части проселочной дорогой, потом лес, маленькое деревенское кладбище на опушке. В ясные дни из окна был виден голубой масляный купол кладбищенской часовни с узорным крестом и крона молодой березы, которая успела вырасти на могиле единственного сына Анастасии Игнатъевны, Василия.

Он погиб семь лет назад. Его, как положено, взяли в армию, когда исполнилось восемнадцать, и тут же отправили в Чечню. Больше года Анастасия Игнатъевна не имела никаких известий от сына, не знала, где он служит, потом получила официальную бумажку, в которой сообщалось, что сын ее погиб при выполнении какой-то спецоперации, а через пару месяцев ей выдали маленькую керамическую урну. Внутри было все, что осталось от ее Васи.

Анастасия Игнатъевна не могла спать без света. Керосинка сильно коптила. Струйки дыма переплетались, тянулись к потолку.

– Васенька! – тихо позвала Настя. – Дай водички попить.

Кружка с водой стояла совсем близко, на подоконнике. Настя нашла ее на ощупь и, стукнув зубами о жестяной край, пробормотала:

– Спасибо, сынок, спасибо, милый.

За окном полыхнула очередная зарница, осветила на миг маленькую чистую комнату, беленый бок печки, выпуклый зеленоватый экран телевизора, полированную спинку тахты, фотографии на стенах. На самой большой был запечатлен Василий перед уходом в армию, уже побритый наголо, хмурый и напряженный. Анастасия Игнатъевна могла часами смотреть в его остекленевшие глаза и вести с ним спокойные неспешные диалоги, рассказывая о каждом прожитом дне, жалуясь на соседей, на гипертонию, и отвечая вместо него самой себе что-нибудь ласковое.

– Видишь, Вася, как сухо, какое долгое ведро стоит? – спросила она, успев поймать за короткую вспышку стеклянный взгляд с фотографии. – Листья сохнут, как будто уже осень. Сохнут и падают, падают.

– Да, мама, могилку мою совсем занесло. Земля тлеет. Ты бы ходила, прибрала.

– Схожу, сынок. Как рассветет, сразу и пойду.

Еще одна зарница выхватила из мрака круглое лицо Василия, и Насте показалось, что он нахмурился.

– Нет, ты сейчас иди!

Шарахнул далекий гром, ветер загремел листьями, и звук был таким, словно они вырезаны из жести.

– Скорее, мама, скорее...

Она понимала, что голос сына ей только чудится. Но больше поговорить было не с кем. Очень тяжело, когда не с кем поговорить, и вот она уже многие годы баюкала свою одинокую тоску этими воображаемыми диалогами. Однако сейчас тихий голос Василия звучал вполне самостоятельно, звал ее настойчиво и страшно.

Кругом тлел торф, горели леса. А кладбище как раз на лесной опушке. Конечно, ничего там не загорится, но все-таки лучше сходить, все равно бессонница.

Настя встала, нашарила тапки под кроватью, прямо на рубаху накинула халат, затянула пояс, наспех повязала седую стриженую голову ситцевым платком.

Поднялся ветер. Дверь избы громко стукнула, в соседнем дворе проснулся старый кобель Дружок и залаял дурным басом. Анастасия Игнатьевна легко засемила по тропинке через поле. Мрак не пугал и не сбивал ее, она знала наизусть эту дорогу и прошла бы по ней с закрытыми глазами.

Опять вспыхнула молния, гром ударил совсем близко. Настя ускорила шаг. Сквозь протертые подошвы фланелевых тапок она чувствовала тревожный жар, исходящий от земли. Земля жгла ступни и гнала вперед. Вася, когда был маленький, очень боялся грозы.

Легко, как молодая, взбежала Настя на пригорок. Глаза привыкли к темноте, она уже различала церковный купол. Крона березы на могиле Василия крупно, быстро дрожала под порывами ветра. Очередная вспышка осветила аккуратный жестяной крест. С овальной фотографии Вася хмуро глядел на мать.

Когда утих раскат грома, она услышала какой-то новый, странный звук. На лицо ей упало несколько тяжелых крупных капель.

– Господи, дождь! – Настя заулыбалась, растерянно огляделась. Следовало скорей бежать назад, домой. Она сама не понимала, зачем среди ночи ее понесло на могилу. Раньше ничего подобного с ней не случилось. Диалоги с погибшим сыном были всего лишь печальной игрой, утешением, но никак не помешательством. Видно, совсем стало плохо с головой от гари и повышенного давления. Если, не дай Бог, кто-то из соседей узнает, подумают: свихнулась фельдшерница. Следовало бежать домой, но она медлила. Капли падали все чаще. Деревья благодарно, радостно зашумели. У Анастасии Игнатьевны возникло странное чувство, что она здесь не одна.

– Кто тут? – спросила она как можно бодрей и громче.

Ответом был новый, жуткий порыв ветра. Долгая яркая молния озарила кладбище. Анастасия Игнатьевна успела заметить скрюченный силуэт у белой церковной стены, разглядела маленькое светлое пятно лица, длинные спутанные патлы и немного успокоилась. Похоже, на кладбище забрела деревенская юродивая Лидуна, существо забавное и безобидное.

– Лидуна, ты, что ли? Смотри, промокнешь, простудишься.

Настя решительно шагнула к церкви, чтобы поднять Лидуню, отвести домой.

– Ну, что застыла? Плохо тебе? – она подошла совсем близко, кряхтя и охая, присела. В кармане халата был коробок спичек. Огонек вспыхнул, ослепил, Настя спрятала его от дождя в шалаш из ладоней и наконец заглянула Лидуне в лицо.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.